Эрих Мария

РЕМАРК

Ночь в Лиссабоне



Ночь в Лиссабоне
Эрих Мария Ремарк

Аннотация
Эрих Мария Ремарк. Ночь в Лиссабоне
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Аннотация

Трагический, полный драматизма роман о великой силе любви – любви, которая перед лицом смертельной опасности сокрушает любые преграды.

Тянется ночь в Лиссабоне, ждут своего часа эмигранты, чудом бежавшие из нацистской Германии, чтобы отправиться в Америку на корабле.

В эту ночь человек, потерявший последнее, что осталось от его жизни, в осколки разбитой войной, отчаянно исповедуется перед случайным встречным. Ночь, когда за бутылкой дешевого вина раскрывается кровоточащая душа и рассказывается рвущая душу история о страсти, нежности и жестокости, о странной верности и странной отваге…

Эрих Мария Ремарк
Ночь в Лиссабоне

Erich Maria Remarque
DIE NACHT VON LISSABON
Печатается с разрешения The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis Literary Agency.
© The Estate of the late Paulette Remarque, 1962
© Перевод. Н. Н. Федорова, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

***

Эрих Мария Ремарк прожил яркую жизнь: воевал на фронтах Первой мировой войны, но остался цел, увлекался автогонками, не не разбился, избежал нацистских преследований, хотя его сестра была казнена фашистами, а его книги жгли на кострах.

Им зачитывались многие поколения читателей по всему миру, но Нобелевскую премию он так и не получил. Романы со знаменитыми актрисами, среди которых была сама Марлен Дитрих, бесконечные переезды из Германии в США, из США в Швейцарию, писательство, критика, журналистика…

В России Ремарка любили и читали всегда. Пожалуй, и до сих пор он — самый популярный зарубежный писатель XX века в России.

1

Я не сводил глаз с корабля. Ярко освещенный, он стоял поодаль от набережной, на Тежу. В Лиссабоне я находился уже неделю, но пока еще не привык к беспечному свету этого города. В тех краях, откуда я приехал, города по ночам тонули во мраке, черные, как угольные копи, а фонарь в темноте был опаснее чумы в Средние века. Я приехал из Европы двадцатого столетия.

Корабль — пассажирский пароход — стоял на погрузке. Я знал, что в море он должен выйти завтра вечером. В резком свете голых электрических ламп в трюмы загружали мясо, рыбу, консервы, хлеб и овощи; докеры тащили на борт багаж, а кран так бесшумно подносил ящики и тюки, будто они ничего не весили. Пароход готовился к рейсу, как ковчег времен потопа. Да это и *был* ковчег. Любой корабль, покидавший Европу в эти месяцы 1942 года, был ковчегом. Горой Арарат была Америка, а воды потопа день ото дня поднимались. Они давным-давно поглотили Германию и Австрию, затопили Польшу и Прагу; Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Осло и Париж

уже ушли на дно, города Италии пахли потопом, да и в Испании стало небезопасно. Побережье Португалии сделалось последним пристанищем для беглецов, которые превыше родины и существования ценили справедливость, свободу и терпимость. Для того, кто не мог добраться отсюда в обетованную землю, в Америку, все было кончено. Ему назначено обессилеть в дебрях отказов во въездных и выездных визах, недостижимых разрешений на работу и жительство, лагерей для интернированных, бюрократии, одиночества, чужбины и страшного всеобщего безразличия к судьбе одиночки, какое неизбежно порождают война, страх и нищета. Человек в это время был уже ничем, действительный паспорт — всем.

После обеда я играл в казино, в Эшторил[1]. Мой костюм выглядел пока вполне прилично, и меня туда пропустили. То была последняя, отчаянная попытка подкупить судьбу. Через несколько дней португальское разрешение на жительство истекало, а других виз мы с Рут не имели. Корабль, стоящий на Тежу, — последний, и во Франции мы надеялись отправиться на нем в Нью-Йорк; но все билеты оказались распроданы

[1] Примечания: 1

Эшторил — курортный городок в окрестностях Лиссабона, где расположено известное казино.

много месяцев назад, а нам, кроме американской въездной визы, недоставало еще и трехсот с лишним долларов на переезд. Я пытался достать хотя бы денег, единственным способом, какой здесь пока что был возможен, — игрой. Попытка бессмысленная, ведь даже если б я выиграл, попасть на корабль мы могли бы только чудом. Но отчаяние и опасность учат беглеца верить в чудеса — иначе-то не выживешь. Из шестидесяти двух долларов, какие у нас еще оставались, пятьдесят шесть я проиграл.

Поздней ночью набережная была почти безлюдна. Однако немного погодя я заметил мужчину, который бесцельно расхаживал туда-сюда, останавливался и, как и я, смотрел на корабль. Наверно, тоже один из многих потерпевших крушение, подумал я и уже не обращал на него внимания, пока не почувствовал, что он глядит на меня. Страх перед полицией не покидает беглеца никогда, даже во сне, даже когда бояться нечего, — поэтому я тотчас скучливо отвернулся и не спеша пошел прочь, как человек, которому совершенно нечего опасаться.

Вскоре я услышал за спиной шаги. Но продолжал идти не спеша, раздумывая, как бы известить Рут, если меня арестуют. Пастельные дома, кото-

рые спали в конце набережной, точно мотыльки в ночи, были еще слишком далеко, чтобы я без риска получить пулю добежал до них и исчез в переулках.

Незнакомец поравнялся со мной. Ростом он был чуть ниже меня.

— Вы немец? — спросил он по-немецки.

Не останавливаясь, я покачал головой.

— Австриец?

Я не ответил. Смотрел на пастельные дома, приближавшиеся слишком медленно. Знал ведь, что некоторые португальские полицейские прекрасно говорят по-немецки.

— Я не полицейский, — сказал мужчина.

Я ему не поверил. Он был в штатском, но в Европе меня раз пять задерживали жандармы в штатском. Сейчас документы у меня есть, причем неплохие, сделанные в Париже пражским профессором математики, но не вполне подлинные.

— Вы смотрели на корабль, — сказал мужчина. — Вот я и подумал…

Я смерил его равнодушным взглядом. На полицейского не похож; впрочем, последний жандарм, сцапавший меня в Бордо, выглядел жалостно, прямо как Лазарь после трех дней во гробе, а оказался самым безжалостным из всех.

Взял меня под арест, хотя знал, что через день в Бордо войдут немецкие войска и тогда все, спета моя песенка, но, к счастью, через несколько часов жалостливый директор тюрьмы отпустил меня на свободу.

— Хотите в Нью-Йорк? — спросил мужчина.

Я не ответил. Еще двадцать метров — и при необходимости можно оттолкнуть его и смыться.

— У меня есть два билета на пароход, который стоит вон там, — сказал мужчина и полез в карман.

В самом деле билеты. Хотя в тусклом освещении ничего не прочтешь. Но мы уже достаточно близко от домов. Можно рискнуть и остановиться.

— Что все это значит? — спросил я по-португальски. На несколько слов моих познаний хватало.

— Вы можете их получить, — сказал он. — Мне они не нужны.

— Не нужны? Что это значит?

— Больше не нужны.

Я смотрел на незнакомца. И не понимал его. Кажется, он и вправду не полицейский. Чтобы арестовать меня, в таких нелепых уловках нет необходимости. Но если билеты подлинные, то

почему он не может ими воспользоваться? И почему предложил их мне? Чтобы продать? Что-то во мне затрепетало.

— Я не могу их купить, — в конце концов сказал я по-немецки. — Они стоят целое состояние. В Лиссабоне, говорят, есть богатые эмигранты, они заплатят вам, сколько запросите. Вы обратились не по адресу. У меня денег нет.

— Я не хочу их продавать, — сказал он.

Я опять посмотрел на билеты:

— Они настоящие?

Ни слова не говоря, он протянул их мне. Они хрустнули в моих руках. Настоящие. Обладание ими — рывок от гибели к спасению. Я, правда, не мог ими воспользоваться, потому что у нас не было американских виз, но мог завтра утром еще попробовать с их помощью получить визы… или хотя бы продать их. Это означало лишних шесть месяцев жизни. Я не понимал этого человека.

— Я вас не понимаю, — сказал я.

— Вы можете получить их, — отвечал он. — Даром. Завтра утром я уеду из Лиссабона. Но у меня есть одно условие.

Я опустил руки. Так и знал, это не может быть правдой.

— Какое же? — спросил я.

— Мне бы не хотелось оставаться этой ночью одному.

— Вы хотите, чтобы я был с вами?

— Да. До завтрашнего утра.

— И все?

— Все.

— Больше ничего?

— Ничего.

Я недоверчиво смотрел на него. Привык, конечно, что люди вроде нас порой не выдерживали, часто не могли оставаться одни, страдали агорафобией, как те, кому уже нигде нет места, и товарищ в ночи, пусть даже совершенно незнакомый, может спасти от самоубийства, но в таких случаях помогать друг другу вполне естественно, и никакую цену за это не назначали. Тем паче такую.

— Где вы живете? — спросил я.

Он отмахнулся.

— Туда я не хочу. Здесь найдется ресторанчик, где можно посидеть?

— Наверняка найдется.

— А нет такого, чтоб для эмигрантов? Вроде парижского кафе «Роза»?

Кафе «Роза» я знал. Две недели мы с Рут там ночевали. Хозяин позволял, если закажешь кофе.

Приносишь газеты и устраиваешься на полу. На столах я не спал никогда; с полу не упадешь.

— Такого я не знаю. — Вообще-то я знал один, но человека, у которого есть два билета на пароход, не водят туда, где народ глаз себе выколет, лишь бы их заполучить.

— Я знаю здесь только одно заведение, — сказал незнакомец. — Но можно попытаться. Вдруг там еще открыто.

Он подозвал одинокое такси, взглянул на меня.

— Ладно, — сказал я.

Мы сели в машину, и он назвал шоферу адрес. Хорошо бы сообщить Рут, что этой ночью я не вернусь; но, когда я садился в дурно пахнущее, темное такси, меня вдруг захлестнула такая отчаянная, жуткая надежда, что я едва устоял на ногах. Может, все это и в самом деле правда, может, наша жизнь еще не кончилась и невозможное сбудется — наше спасение. Я уже не решался ни на миг оставить незнакомца одного.

Мы объехали театральную кулису площади Праса-ду-Комерсиу и немного погодя очутились в лабиринте лестниц и переулков, ведущих в гору. Эта часть Лиссабона была для меня незнакомой; как обычно, я знал главным образом церкви да музеи — не потому, что так сильно любил

Бога или искусство, а просто потому, что в церквах и музеях не спрашивали документы. Перед Распятым и мастерами искусства ты покамест оставался человеком, а не индивидом с сомнительными бумагами.

Мы вышли из такси и зашагали вверх по лестницам и путаным переулкам. Пахло рыбой, чесноком, ночными цветами, мертвым солнцем и сном. Сбоку под восходящей луной вырастал из ночи замок Святого Георгия, и свет, словно водопад, каскадами струился вниз по множеству ступеней. Я обернулся, посмотрел на гавань. Внизу лежала река, и река эта была свободой, жизнью, она впадала в море, а море было Америкой.

Я остановился:

— Надеюсь, вы не шутите.

— Нет, — ответил незнакомец.

— То есть не шутите насчет билетов на пароход?

На набережной он снова спрятал их в карман.

— Нет, не шучу. — Он кивнул на маленькую площадь, окаймленную деревьями. — Вон там находится кафе, о котором я говорил. Пока открыто. Мы не привлечем внимания. Кроме иностранцев, туда мало кто заходит. Нас примут за людей, которые завтра уедут. Как и все прочие, что отмечают

там свою последнюю ночь в Португалии, а наутро садятся на корабль.

Кафе оказалось чем-то вроде бара, с маленькой площадочкой для танцев и террасой — заведение, рассчитанное на туристов. Слышались звуки гитары, в глубине виднелась певица, исполнительница фаду. Несколько столиков на террасе занимали иностранцы. Среди них женщина в вечернем платье и мужчина в белом смокинге. Мы устроились в конце террасы. Оттуда открывался вид на Лиссабон, на церкви в блеклом свете, на освещенные улицы, гавань, доки и корабль, который был ковчегом.

— Вы верите в жизнь после смерти? — спросил человек с билетами.

Я поднял взгляд. Вот так вопрос! Я ожидал чего угодно, только не этого.

— Не знаю, — в конце концов ответил я. — В последние годы меня слишком занимала жизнь *до* смерти. Доберусь до Америки, тогда с удовольствием подумаю об этом, — добавил я, напоминая, что он обещал мне билеты.

— А я в нее не верю, — сказал он.

Я облегченно вздохнул. Был готов выслушать несчастливца, но вести философские дискуссии вовсе не хотел. Спокойствия недоставало. На реке

стоял корабль.

Некоторое время незнакомец словно бы спал с открытыми глазами. Однако когда на террасу вышел гитарист, он встрепенулся.

— Мое имя Шварц, — сообщил он. — Не настоящее, конечно, а то, что значится в паспорте. Но я привык к нему, и на сегодняшнюю ночь его достаточно. Вы долго жили во Франции?

— Пока мог.

— Интернированы?

— Когда началась война. Как все остальные.

Мужчина кивнул.

— Мы тоже. Я был счастлив, — неожиданно сказал он, тихо и быстро, опустив голову, глядя в сторону. — Очень счастлив. Даже не представлял себе, что могу быть так счастлив.

Я с удивлением обернулся. В самом деле, по нему никак не скажешь. Он производил впечатление человека вполне заурядного, причем довольно робкого.

— Когда? — спросил я. — Неужели в лагере?

— В последнее лето.

— В тридцать девятом? Во Франции?

— Да. В предвоенное лето. Я и сейчас не понимаю, как все вышло. Вот почему мне необходимо с кем-нибудь об этом поговорить. Я никого здесь

не знаю. А если поговорю об этом с кем-нибудь, оно снова оживет. И станет тогда совершенно ясным. И сохранится. Нужно только еще раз… — Он осекся. А немного погодя спросил: — Понимаете?

— Да, — ответил я и осторожно добавил: — Понять несложно, господин Шварц.

— Это вообще невозможно понять! — возразил он, неожиданно резко и страстно. — Она лежит там, внизу, в комнате с закрытыми окнами, в мерзком деревянном гробу, мертвая, уже не существующая! Кто может это понять? Никто! Ни вы, ни я, никто, а тот, кто говорит, что понимает, лжет!

Я молча ждал. Не раз мне доводилось сидеть вот так с разными людьми. Когда у тебя нет родной страны, утраты пережить труднее. Тогда нет опоры, и чужбина становится до ужаса чужой. Я пережил такое в Швейцарии, когда получил известие, что моих родителей в Германии убили в концлагере и сожгли. Я постоянно думал о глазах матери в огне печи. Эта картина преследовала меня до сих пор.

— Полагаю, вы знаете, что такое эмигрантское безумие, — уже спокойнее сказал Шварц.

Я кивнул. Официант принес мисочку креветок. Я вдруг почувствовал, что очень проголодался, и

вспомнил, что с полудня ничего не ел. Нерешительно посмотрел на Шварца.

— Ешьте, — сказал он. — Я подожду.

Он заказал вино и сигареты. Я торопливо ел. Креветки были свежие и пряные.

— Извините, — сказал я, — я правда очень проголодался.

Я ел и смотрел на Шварца. Он спокойно сидел, глядя вниз, на театральный город, без нетерпения и досады. Во мне шевельнулось что-то вроде симпатии. Как видно, он покончил с заповедями ложного благоприличия и знал, что человек может быть голодным и не откажется от еды, хотя кто-то рядом страдает, и бесчувственность здесь ни при чем. Если сделать для ближнего ничего не можешь, нет ничего дурного в том, чтобы утолить голод его хлебом, пока не отняли. Кто знает, когда отнимут.

Я отодвинул тарелку, взял сигарету. Давно не курил. Экономил деньги, чтобы на сегодняшнюю игру побольше осталось.

— Эмигрантское безумие одолело меня весной тридцать девятого, — сказал Шварц. — После пяти с лишним лет в эмиграции. Вы где были осенью тридцать восьмого?

— В Париже.

— Я тоже. В ту пору я вконец пал духом. Накануне Мюнхенского соглашения. Агония страха. Я еще автоматически прятался и защищался, но уже поставил точку. Будет война, придут немцы и заберут меня. Такова моя судьба. Я смирился.

Я кивнул:

— Это было время самоубийств. Странно, когда через полтора года в самом деле пришли немцы, самоубийства случались реже.

— Потом заключили Мюнхенские соглашения, — сказал Шварц. — Тогда, осенью тридцать восьмого, нам вдруг снова подарили жизнь! Она казалась такой легкой, что люди забывали об осторожности. В Париже даже второй раз зацвели каштаны, помните? Я стал настолько легкомыслен, что чувствовал себя человеком и, увы, так себя и вел. Полиция схватила меня и по причине повторного недозволенного въезда засадила на месяц под арест. Потом началась старая игра: под Базелем швейцарцы выдворили меня назад, за границу, французы в другом месте опять выпихнули в Швейцарию, арестовали… Ну, вы же знаете эти шахматы с людьми…

— Знаю. Зимой было не до шуток. Самые лучшие тюрьмы — швейцарские. Теплые, как гостиницы.

Я опять взялся за еду. В неприятных воспоминаниях есть кое-что хорошее: они убеждают, что ты счастлив, пусть даже секундой раньше думал, что отнюдь нет. У счастья много степеней. Кто это понимает, редко бывает совсем несчастлив. Я был счастлив в швейцарских тюрьмах, потому что они были не немецкие. Но передо мной-то сидел человек, утверждавший, что владел счастьем, хотя где-то в Лиссабоне, в душной комнате, стоял деревянный гроб.

— Когда меня последний раз выпустили на волю, то пригрозили выдворить в Германию, если снова поймают без документов, — сказал Шварц. — Всего-навсего угроза, но я испугался. Начал обдумывать, что мне делать, если так случится на самом деле. Потом мне ночами стало сниться, что я вправду там и за мной охотится СС. Этот сон повторялся так часто, что в конце концов я и заснуть боялся. Вам и это тоже знакомо?

— Впору диссертацию писать, — ответил я. — К сожалению.

— Однажды ночью мне приснилось, будто я в Оснабрюке, в городе, где раньше жил сам и где по-прежнему жила моя жена. Я стоял в ее комнате и видел, что она хворает. Она очень исхудала и плакала. В испуге я проснулся. Больше пяти лет я

не видел ее и ничего о ней не слышал. И никогда ей не писал, потому что не знал, досматривают ли ее почту. Перед бегством она обещала мне подать на развод. Это убережет ее от неприятностей. Несколько лет я был уверен, что она так и поступила.

Шварц помолчал. Я не спрашивал, почему он покинул Германию. Причин для этого хватало. И интереса они не представляли, поскольку любая была несправедлива. Быть жертвой неинтересно. Он либо еврей, либо состоял в политической партии, враждебной нынешнему режиму, либо имел врагов, которые вдруг стали влиятельными, — существовали десятки причин, чтобы угодить в Германии в концлагерь или лишиться жизни.

— Мне удалось снова добраться до Парижа, — сказал Шварц. — Но тот сон не оставлял меня. Снился снова и снова. Одновременно пошла прахом и иллюзия Мюнхенских соглашений. Весной стало ясно, что война неизбежна. Ее чуяли, как чуют пожар задолго до того, как увидят его. Лишь мировая дипломатия беспомощно закрывала глаза и предавалась несбыточным мечтаниям — о втором и третьем Мюнхене, обо всем, только не о войне. Никогда вера в чудо не была так велика, как в наше время, когда никаких чудес уже

не случается.

— Случаются, — возразил я. — Иначе бы никто из нас не остался в живых.

Шварц кивнул:

— Вы правы. Частные чудеса. Я сам пережил одно такое. Все началось в Париже. Я неожиданно получил в наследство действительный паспорт. Этот самый, на имя Шварца. Принадлежал он австрийцу, с которым я познакомился в кафе «Роза». Он умер и завещал мне свой паспорт и деньги. Во Францию он приехал всего три месяца назад. Мы встретились в Лувре… перед полотнами импрессионистов. Я тогда проводил там много времени, чтобы успокоиться. Когда стоишь перед этими напоенными солнцем, мирными пейзажами, не верится, что вид животных, способный создать такое, одновременно способен планировать убийственную войну, — иллюзия, конечно, однако ж она на часок слегка понижает кровяное давление.

Человек с паспортом на имя Шварца часто сидел перед картинами Моне, изображающими кувшинки и соборы. Мы разговорились, и он рассказал, что после того, как власть в Австрии захватили нацисты, ему удалось освободиться и покинуть страну, отказавшись от своего

состояния. А заключалось оно в коллекции импрессионистов, которая отошла государству. Он не жалел. Пока в музеях выставлены картины, он может любоваться ими как своими собственными, вдобавок не тревожась о пожаре и краже. Да и картины во французских музеях получше тех, какими владел он. Коллекционер прикован к своему ограниченному собранию, как отец к семейству, с обязательством отдавать предпочтение своим и, стало быть, находиться под их влиянием, теперь же ему принадлежали все картины открытых собраний, причем для этого даже пальцем шевелить незачем. Странный человек, тихий, кроткий и веселый, невзирая на все, что пережил. Денег он смог вывезти очень мало, но спас некоторое количество старинных почтовых марок. Почтовые марки спрятать несложно, легче, нежели брильянты. С брильянтами ходить неудобно, когда они спрятаны в ботинках, а тебя ведут на допрос. Да и продать их невозможно без больших потерь и массы вопросов. Марки же интересны для коллекционеров. А коллекционеры не очень-то задают вопросы.

— Как же он их вывез? — спросил я с профессиональным любопытством эмигранта.

— Взял с собой старые, невинные, вскрытые

письма и сунул марки под подкладку конвертов. Таможенники досматривали письма, но не конверты.

— Ловко, — сказал я.

— Кроме того, он прихватил еще два маленьких портрета работы Энгра. Карандашные рисунки. Вложил их в широкие паспарту и безвкусные якобы золоченые рамки и сказал, что это портреты его родителей. С изнанки паспарту он незаметно вклеил два рисунка Дега.

— Ловко, — опять сказал я.

— В апреле у него случился сердечный приступ, и он отдал мне свой паспорт, остатки марок и рисунки. Дал и адреса людей, которые купят марки. Когда я зашел к нему следующим утром, он лежал в постели мертвый, и я едва узнал его, так он изменился в упокоении. Я забрал деньги, которые у него оставались, костюм и немного белья. Накануне он сказал, чтобы я это сделал, пусть вещи достанутся товарищам по несчастью, а не квартирному хозяину.

— Вы что-то меняли в паспорте?

— Только фото и год рождения. Шварц был на двадцать пять лет старше меня. А имена у нас одинаковые.

— И кто это сделал? Брюннер?

— Кто-то из Мюнхена.

— Тогда наверняка Брюннер, паспортный доктор. Очень дельный человек.

Брюннер славился хорошей работой. Многим помог, но, когда был арестован, сам документов не имел, по причине суеверия: думал, что раз он честный и делает добрые дела, то ничего с ним случиться не может, пока он не использует свое искусство ради себя самого. До эмиграции у него была в Мюнхене маленькая типография.

— Где он теперь? — спросил я.

— А разве не здесь, в Лиссабоне?

Я не знал. Хотя вполне возможно, если он еще жив.

— Так странно было иметь паспорт, — сказал Шварц-второй. — Я не решался им пользоваться. И так-то несколько дней потребовалось, чтобы привыкнуть к новой фамилии. Я все время твердил ее про себя. Шел по Елисейским Полям и бормотал фамилию, новую дату и место рождения. Сидел в музее перед Ренуаром и, если был один, шептал воображаемый диалог… резким голосом: «Шварц!», чтобы тотчас вскочить и ответить: «Я!»… или рявкал: «Фамилия!», чтобы тотчас автоматически отбарабанить: «Йозеф Шварц, родился в Винер-Нойштадте двадцать второго июня

тысяча восемьсот девяносто восьмого года». Даже вечером перед сном тренировался. Вдруг ночью меня поднимет на ноги полиция, а я спросонья брякну не то, что надо. Хотел забыть свое прежнее имя. Вот в чем разница между отсутствием паспорта и обладанием фальшивым паспортом. Фальшивый опаснее.

Рисунки Энгра я продал. Дали за них меньше, чем я рассчитывал, но неожиданно у меня появились деньги, давно я не видал такой суммы.

И вот однажды ночью мне пришла в голову мысль, которая потом уже не отпускала. Нельзя ли с этим паспортом съездить в Германию? Он ведь почти действительный, так почему на границе непременно что-нибудь заподозрят? Тогда я смогу повидать жену. Смогу унять страх за нее. Смогу…

Шварц посмотрел на меня.

— Вам это наверняка знакомо! Эмигрантское безумие в чистейшем виде. Спазм в желудке, в горле и в глазницах. То, что пять лет кряду втаптывал в землю, старался забыть, избегал как чумы, поднимается вновь — смертельное воспоминание, рак души для эмигранта!

Я пытался освободиться. Ходил, как прежде, к картинам мира и тишины, к Сислею, к Пис-

сарро, к Ренуару, часами сидел в музее… но теперь они действовали на меня иначе. Уже не успокаивали, наоборот, стали звать, требовать, напоминать… о стране, которую еще не затопила коричневая чума, о вечерах в переулках, где над каменными оградами свисали гроздья сирени, о золотых сумерках старинного города, о его зеленых церковных башнях, вокруг которых вились ласточки… и о жене.

Я человек заурядный, особенных качеств не имею. Прожил с женой четыре года, как живут обычно: без сложностей, приятно, но и без большой страсти. После первых месяцев наши отношения стали тем, что принято называть хорошим браком, — узами, связующими людей, которые сознают, что взаимное уважение есть основа спокойной совместной жизни. Мечтаниями мы не увлекались. По крайней мере, мне так казалось. Были разумными людьми. И искренне любили друг друга.

Теперь все изменилось. Я стал винить себя, что вел в браке такую заурядную жизнь. Все упустил. Ради чего жил? Что делал теперь? Прятался, прозябал. Долго ли так будет продолжаться? И чем кончится? Начнется война, и победит наверное Германия. Единственная страна, которая воору-

жена до зубов. Что тогда будет? Куда я спрячусь, если еще будет время и дыхание? В каком лагере умру с голоду? У какой стены меня убьют выстрелом в затылок, если повезет?

Паспорт, который должен бы успокаивать, доводил меня до отчаяния. Я метался по улицам, пока от усталости едва не падал с ног, но и спать не мог, а если засыпал, сны вновь будили меня. Я видел жену в подвале гестапо, слышал, как она зовет на помощь с заднего двора гостиницы, а однажды, когда я вошел в кафе «Роза», в зеркале, висевшем наискосок против входа, мне почудилось ее лицо, на миг оно обернулось ко мне, бледное, с безутешным взглядом, и тотчас скользнуло прочь. Видение было необычайно отчетливым, я решил, что она там, и поспешил в заднее помещение. Как всегда, там было полно народу, но ее я не нашел.

Несколько дней меня преследовала эта навязчивая идея: она приехала сюда и ищет меня. Сотни раз я видел, как она сворачивает за угол, как сидит на скамейках Люксембургского сада, а когда подходил ближе, мне навстречу с удивлением смотрело чужое лицо; она пересекла площадь Согласия, за секунду до того, как поток автомобилей вновь сорвался с места, и на сей раз

это вправду была она — ее походка, ее осанка, даже платье показалось мне знакомым, но когда регулировщик наконец опять остановил движение и я бросился за ней вдогонку, она исчезла, поглощенная черным зевом метро, а когда я добрался до платформы, то увидел в темноте лишь глумливые хвостовые огни отъехавшего поезда.

Я доверился одному из знакомых. Звали его Лёзер, он торговал чулками, но раньше был врачом в Бреслау. Он посоветовал мне меньше сидеть в одиночестве. Сказал: «Найдите себе женщину».

Без толку. Вы же знаете эти романы по необходимости, от одиночества, от страха, порыв к хоть какому-то теплу, к голосу, телу… пробуждение в убогой комнатенке в чужой стране, словно рухнул под землю, а потом унылая благодарность за то, что слышишь рядом чужое дыхание… но много ли это значит в сравнении с могучим напором фантазии, которая пьет кровь и заставляет человека просыпаться утром с мутным ощущением, что он себя изнасиловал?

Сейчас, когда я рассказываю, все это выглядит нелепо и противоречиво; тогда было иначе. После всех борений оставалось только одно: надо вернуться. Надо еще раз увидеть жену. Возможно, она давным-давно живет с другим. Но какая

разница? Я должен ее увидеть. Это казалось мне совершенно логичным.

Вести о предстоящей войне множились. Каждый видел, что Гитлер, который сразу нарушил свое обещание занять лишь Судетскую область, а не всю Чехословакию, теперь затевает то же самое с Польшей. Война неизбежна. Союзные договоры Франции и Англии с Польшей иного не допускали. И это был уже не вопрос месяцев, а вопрос считаных недель. Как и для меня. Как и для моей жизни. Надо было решаться. И я решился. Поеду туда. Что делать потом, я не знал. И не думал об этом. Если грянет война, мне все равно конец. Так почему бы не совершить безумный поступок?

В последние дни меня охватило странное веселье. Стоял май, клумбы на Рон-Пуан пестрели тюльпанами. Ранние вечера уже полнились серебристым светом импрессионистов, голубели тенями, и высокое светло-зеленое небо служило фоном холодному газовому свету первых уличных фонарей и беспокойным красным лентам неоновых надписей на крышах зданий газет, которые возвещали о войне каждому, кто умел их прочесть.

Сначала я поехал в Швейцарию. Хотел опро-

бовать свой паспорт на безопасной территории, прежде чем поверить в него. Французский таможенник равнодушно вернул его мне, как я и ожидал. Сложности с выездом чинят только в диктаторских странах. Но когда появился швейцарец, я почувствовал, как что-то внутри у меня свело судорогой. Я изо всех сил старался сидеть спокойно, но мне казалось, будто края моих легких дрожат, как порой в полном безветрии один листок на дереве трепещет, словно безумный.

Он рассматривал мой паспорт. Огромный, широкоплечий таможенник, пахнувший трубочным дымом. Стоя в купе, он заслонил окно, и на миг меня захлестнуло гнетущее ощущение, что он перекрыл небо и свободу — будто купе уже стало тюремной камерой. Потом он вернул мне паспорт.

«Вы забыли поставить штамп», — сам того не желая, быстро сказал я, в приливе облегчения.

Таможенник усмехнулся: «Успеется. Вам это так важно?»

«Да нет. Просто он тогда будет своего рода сувениром».

Он поставил в паспорт штамп и ушел. Я прикусил губу. До чего же нервным я стал! Потом мне подумалось, что со штампом паспорт выглядит

несколько более настоящим.

В Швейцарии я целый день раздумывал, не стоит ли и в Германию поехать поездом, однако не решился. Вдобавок неизвестно, вдруг они проверяют возвращенцев с особой тщательностью, даже тех, кто родом из бывшей Австрии. Вряд ли, конечно, но на всякий случай лучше перейти границу нелегально.

Поэтому в Цюрихе, как и раньше, я первым делом отправился на главный почтамт. У окошка корреспонденции до востребования там обычно можно встретить знакомых — таких же скитальцев без разрешения на жительство, которые могут сообщить какую-нибудь информацию. Оттуда я пошел в кафе «Грайф», тамошний вариант кафе «Роза». Повстречал разных людей, которые ходили через границу, но никто из них не знал в точности, где можно пробраться в Германию. Оно и понятно. Кому, кроме меня, охота в Германию? Я замечал, как они смотрели на меня, а потом, уразумев, что я говорю всерьез, торопились отойти. Раз человек хочет вернуться, он наверняка перебежчик; ведь возвращение предполагает и приятие режима, не так ли? И что еще он сделает, если готов на такое? Кого предаст? Что выболтает?

Я вдруг остался один. Меня избегали, как избегают убийцу. Ведь и объяснить я ничего не мог; временами меня самого охватывала такая жуткая паника, что я пóтом обливался при мысли о своей затее, — где уж тут объяснять другим!

На третий день, в шесть утра, пришел полицейский, поднял меня с постели. Принялся дотошно расспрашивать. Я сразу сообразил, что донес на меня один из знакомых. Недоверчиво изучив мой паспорт, полицейский забрал меня на допрос. Штамп в паспорте теперь в самом деле был удачей. Я мог доказать, что въехал в страну легально и нахожусь здесь всего три дня. Как сейчас помню раннее утро, когда шел с полицейским по улицам. День выдался ясный, башни и крыши города четко, словно вырезанные из металла, проступали на фоне неба. Из какой-то пекарни пахло свежим хлебом, и казалось, в этом запахе сосредоточено все на свете утешение. Вам это знакомо?

Я кивнул.

— Мир вокруг видится как никогда прекрасным в тот миг, когда тебя арестуют. Перед тем, как ты его покинешь. Вот бы всегда чувствовать его таким! Наверно, для этого просто не хватает времени. И покоя.

Шварц покачал головой:

— Покой тут ни при чем. Я так чувствовал.

— И могли удержать это чувство? — спросил я.

— Не знаю, — медленно проговорил Шварц. — Именно это я и должен выяснить. Оно выскользнуло у меня из рук… но было ли целиком моим, когда я держал его? Может быть, теперь у меня есть шанс вернуть его еще более сильным и удержать навсегда? Теперь, когда оно не меняется? Разве беспрерывно не теряешь то, что как будто бы держишь, именно потому, что оно двигается? И разве оно не останавливается только тогда, когда уже не существует и не может меняться? Может быть, лишь тогда оно и становится твоим?

Его неподвижный взгляд был устремлен на меня. Впервые он смотрел мне прямо в глаза. Зрачки расширены. Фанатик или безумец, вдруг подумал я.

— Мне это незнакомо, — сказал я. — Но ведь этого хочет каждый? Удержать то, что удержать невозможно? И покинуть то, что не желает тебя покинуть?

Сидевшая за соседним столиком женщина в вечернем платье встала. Взглянула с веранды вниз, на город и гавань.

— Дорогой, ну почему нам надо возвращать-

ся? — сказала она мужчине в белом смокинге. — Если б мы могли остаться! Мне совсем не хочется обратно в Америку.

2

— Цюрихская полиция продержала меня под арестом всего один день, — сказал Шварц. — Но для меня он был тяжким. Я боялся, что они проверят мой паспорт. Достаточно позвонить по телефону в Вену или поручить специалисту проверить подправленные данные.

К вечеру я успокоился. Смотрел на предстоящее как на этакий Божий суд. Меня как бы избавили от необходимости принимать решение. Если посадят в тюрьму, я не попытаюсь попасть в Германию. Однако вечером меня выпустили и настоятельно рекомендовали как можно скорее выехать из Швейцарии.

Я решил ехать через Австрию. Тамошнюю границу я немного знал, и охраняют ее наверняка не так тщательно, как немецкую. Да и зачем их вообще тщательно охранять? Кто туда пойдет? Но, вероятно, многие хотели уйти оттуда.

Я поехал в Оберрит, чтобы попробовать где-нибудь там перейти границу. Лучше бы дождаться дождливой погоды, однако целых два дня было ясно. На третью ночь я отправился в путь, чтобы

не привлекать внимание обитателей городка к своей персоне.

Ночь выдалась звездная. Кругом царило такое безмолвие, что мне казалось, я слышу тихие шорохи роста. Вы знаете, при опасности зрение меняется… не то чтобы взгляд становится острее, фокусируется, скорее зрячим становится все тело, ты как бы видишь кожей, особенно ночью. Шорохи и те делаются прямо-таки зримыми, настолько и слух перемещается на кожу. Открываешь рот и слушаешь, и рот тоже словно бы видит и слышит.

Мне никогда не забыть ту ночь. Я полностью сознавал себя, все мои чувства были широко распахнуты, я приготовился ко всему, но абсолютно не испытывал страха. Словно бы шел по высокому мосту, с одного берега своей жизни к другому, и знал, что за моей спиной этот мост растает, как серебряный дым, и вернуться я никогда не смогу. Шел от разума в чувство, от надежности в авантюру, от рационального в иллюзорное. Я был совершенно один, но на сей раз одиночество не мучило, в нем сквозило прямо-таки что-то мистическое.

Я вышел к Рейну, в этом месте еще юному и не очень широкому. Разделся, связал одежду в узел,

чтобы держать над головой. Странное ощущение овладело мной, когда я нагишом погрузился в воду. Она была черная, очень холодная и чужая, я будто окунулся в Лету, чтобы испить забвения. Вдобавок необходимость плыть нагишом показалась мне символом, что я все оставляю позади.

На берегу я обсушился и продолжил путь. Проходя мимо какой-то деревни, услышал, как залаяла собака. Я не знал, где именно проходит граница, и потому держался на обочине дороги, которая вела вдоль опушки рощи. Долгое время я не встречал ни души. Так и шел до утра. Внезапно пала сильная роса, и на краю просеки появилась косуля. А я все шел, пока не услышал громыханье первых крестьянских телег. И тогда спрятался поблизости от дороги. Не хотел вызывать подозрений, ведь был на ногах в такую рань да еще и шел со стороны границы. Позднее я увидел двух таможенников, кативших на велосипедах по проселку. Узнал их мундиры. Я находился в Австрии. В ту пору Австрия уже год принадлежала к Германии.

Женщина в вечернем платье и ее спутник ушли с террасы. Плечи женщины покрывал густой загар, и ростом она была выше своего кавалера. Еще несколько туристов не спеша спускались вниз по

лестницам. Все они шли как люди, которых никто и никогда не преследовал. Ни один не оглянулся.

— Я захватил с собой бутерброды, — продолжал Шварц, — и отыскал ручей, чтобы напиться. В полдень отправился дальше. Шел я в городок Фельдкирх, зная, что летом его посещают отпускники, а потому надеялся не привлечь там особого внимания. Там и поезда останавливались. В конце концов я добрался до Фельдкирха. И ближайшим поездом поехал прочь от границы, подальше от самой опасной зоны. Вошел в купе — и увидел двух штурмовиков в форме.

По-моему, в этот миг мне помогли тренировки с европейской полицией, иначе я бы, наверно, отпрянул назад. Словом, я вошел и сел в уголке возле мужчины в грубошерстном костюме и с ружьем.

Вот так впервые после пятилетнего перерыва я столкнулся со всем тем, что для меня олицетворяло мерзость. В минувшие недели я часто представлял себе эту встречу, но реальность оказалась иной. Среагировало тело, а не голова; желудок, ставший камнем, рот, обернувшийся рашпилем.

Охотник и штурмовики вели разговор о некой вдове Пфунднер. Она, судя по всему, была особа

весьма бойкая, потому что все трое перечисляли ее интрижки. Потом они стали закусывать. Бутербродами с ветчиной. «Куда направляетесь, сосед?» — спросил у меня охотник.

«В Брегенц возвращаюсь», — ответил я.

«Вы, стало быть, не местный?»

«Верно, я в отпуске».

«И откуда же вы будете?»

Секунду я помедлил. Если скажу, что из Вены, как значится в паспорте, все трое, пожалуй, заметят, что говорю я не на мягком венском диалекте. «Из Ганновера, — сказал я. — Больше тридцати лет там живу».

«Из Ганновера! Далеконько».

«Что правда, то правда. Но ведь в отпуске не хочется торчать дома».

Охотник рассмеялся: «Это верно. И с погодкой вам повезло!»

Я чувствовал, что рубашка прилипла к телу. «Отличная погода, — кивнул я, — только жарковато, будто лето уже в разгаре».

Троица опять принялась перемывать косточки вдове Пфунднер. Через несколько остановок они сошли, и я остался в купе один. Теперь поезд проезжал один из красивейших ландшафтов Европы, но я мало что видел. На меня вдруг накатил

почти невыносимый приступ сожаления, страха и отчаяния. Я уже совершенно не понимал, зачем перешел границу. Не шевелясь, сидел в углу и смотрел в окно. Я попал в ловушку, причем сам захлопнул за собой дверцу. Раз десять порывался сойти и ночью попробовать вернуться в Швейцарию.

Но не сошел. Левая рука крепко сжимала в кармане паспорт покойного Шварца, словно он мог придать мне силы. Я твердил себе, что теперь уже все равно, задержусь я вблизи границы или нет, и чем дальше я уезжаю в глубь страны, тем меньше опасность. Я решил и ночь провести в вагоне. В поездах меньше интересуются документами, чем в гостинице.

Типично, что, поддавшись панике, думаешь, будто отовсюду на тебя нацелены прожектора и миру делать больше нечего, кроме как искать тебя. Не можешь отделаться от ощущения, будто все клетки тела хотят стать самостоятельными, ноги хотят создать дергающееся ножное царство, руки — быть только сопротивлением и ударом, и даже губы и рот, трепеща, способны лишь сдержать невнятный крик.

Я закрыл глаза. Соблазн уступить панике усиливался, оттого что я был в купе один. Но я знал:

каждый сантиметр отступления обернется метром, если я действительно окажусь в опасности. И сказал себе, что никто меня не ищет, что режиму я интересен не более, чем лопата песку в пустыне, и что никто по мне ничего заметить не может. Конечно, так оно и было. Я мало отличался от окружающих. Белокурый ариец — германская легенда, но не факт. Взгляните на Гитлера, Геббельса, Гесса и остальное правительство — собственно, все они суть доказательство их собственной иллюзии.

В Мюнхене я впервые покинул защиту вокзалов и заставил себя целый час гулять. Города я не знал и потому считал, что и меня никто не знает. Зашел поесть во «Францисканскую пивную». Народу там было полно. В одиночестве я сидел за столиком, слушал. Немного погодя ко мне подсел потный толстяк. Он заказал пиво и говядину, развернул газету, стал читать. Сам я до этой минуты еще не додумался почитать немецкие газеты и теперь купил сразу две. Не один год минул с тех пор, как я последний раз читал по-немецки, да и к тому, что вокруг говорят по-немецки, пока что не вполне привык.

Передовицы в газетах были ужасающие. Лживые, кровожадные, заносчивые. Мир за предела-

ми Германии представал в них выродившимся, коварным, глупым, пригодным лишь на то, чтобы им завладела Германия. Газеты были не местные и раньше имели хорошую репутацию. Не только их содержание, но и стиль просто в голове не укладывались.

Я посмотрел на соседа. Он ел, пил и с удовольствием читал. Оглядевшись вокруг, я нигде не заметил на лицах читателей ни тени возмущения, они привыкли к своей ежедневной духовной пище, как к пиву.

Я продолжал чтение, пока не нашел среди мелких заметок одну про Оснабрюк. На Лоттерштрассе сгорел дом. Эта улица сразу возникла у меня перед глазами. По валам выходишь к Хегертор, а оттуда — на Лоттерштрассе, которая ведет из города. Я сложил газету. Неожиданно навалилось такое одиночество, какого я даже за пределами Германии не испытывал.

Мало-помалу я привык к постоянным сменам потрясений и фаталистической апатии. Привык и чувствовать себя увереннее, чем раньше. Я понимал, с приближением к Оснабрюку опасность возрастет. Там есть люди, которые знали меня по прежним временам.

Чтобы не привлекать внимания в гостиницах,

я купил дешевый чемоданчик, немного белья и вещи, необходимые в короткой поездке. Потом поехал дальше. Я еще не придумал, как встретиться с женой, и каждый час менял планы. Придется уповать на случай, я ведь даже не знал, не уступила ли она своей родне, которая безоговорочно поддерживала режим, и не вышла ли за другого. Прочитав газеты, я уже не был уверен, что требуется много времени, чтобы поверить всему там написанному, особенно если нет возможности для сравнения. Иностранные газеты подвергались в Германии жестокой цензуре.

В Мюнстере я остановился в гостинице средней руки. Не мог все время по ночам бодрствовать, а днем где-нибудь спать; пришлось пойти на риск, что немецкая гостиница зарегистрирует меня в полиции. Вы знаете Мюнстер?

— Поверхностно, — ответил я. — Кажется, это старинный город с множеством церквей, где был подписан Вестфальский мир?

Шварц кивнул:

— В Мюнстере и Оснабрюке, в тысяча шестьсот сорок восьмом году. После Тридцатилетней войны. Кто знает, как долго продлится эта?

— Если и дальше так пойдет, то недолго. Немцам понадобилось четыре недели, чтобы захватить

Францию.

Подошел официант, сообщил, что заведение закрывается. Мы — последние посетители.

— А есть какое-нибудь другое, которое еще открыто? — спросил Шварц.

Официант объяснил, что Лиссабон не из тех городов, где процветает ночная жизнь. Но когда Шварц дал ему на чай, он вспомнил одно кафе, тайное, по его словам, русский ночной клуб.

— Весьма шикарный, — добавил он.

— Нас туда пустят? — спросил я.

— Конечно, сударь. Я только хотел сказать, что там шикарные женщины. Всех национальностей. В том числе немки.

— У них долго открыто?

— Пока есть посетители. А сейчас посетители есть всегда. Много немцев-то, сударь.

— Каких немцев?

— Ну, немцев же.

— С деньгами?

— Ясное дело, с деньгами. — Официант засмеялся. — Заведение не из дешевых. Но весьма веселое. Вы могли бы сказать им, что отсюда вас прислал Мануэл? Тогда больше ничего сообщать не надо.

— А разве надо что-нибудь сообщать?

— Да нет, ничего. Портье запишет вас на вымышленное имя как члена клуба. Для проформы.

— Хорошо.

Шварц расплатился по счету. Мы медленно пошли вниз по уличным лестницам. Блеклые дома спали, прислонясь друг к другу. Из окон доносились вздохи, храп и дыхание людей, которые не тревожились по поводу паспортов. Наши шаги звучали громче, чем днем.

— Свет, — сказал Шварц. — Вас он тоже удивляет?

— Да. Мы ведь привыкли к затемненной Европе. Здесь думаешь, что кто-то забыл выключить свет, а в следующий миг грянет воздушный налет.

Шварц остановился.

— Мы получили этот подарок, потому что в нас есть что-то от Бога, — вдруг патетически произнес он. — А теперь прячем его, потому что убиваем эту частицу Бога в нас.

— Насколько я помню предания, огонь мы получили не в подарок, Прометей украл его, — возразил я. — За это боги одарили его хроническим циррозом печени. По-моему, это больше под стать нашему характеру.

Шварц посмотрел на меня.

— Я давно перестал иронизировать. И отбросил страх перед высокими словами. Пока иронизируешь и боишься, пытаешься свести вещи к меньшему масштабу, нежели реальный.

— Пожалуй, — сказал я. — Но стоит ли все время таращиться на невозможное и твердить: это невозможно? Не лучше ли уменьшить его и тем самым впустить лучик надежды?

— Вы правы! Простите меня. Я забыл, что вы спасаетесь бегством. В такой ситуации не до размышлений о пропорциях.

— А вы разве не спасаетесь бегством?

Шварц покачал головой:

— Уже нет. Я второй раз возвращаюсь.

— Куда? — с удивлением спросил я. Не мог поверить, что он опять возвращается в Германию.

— Обратно, — ответил он. — Я объясню вам.

3

Ночной клуб оказался одним из типичных заведений, какими управляют русские белоэмигранты, после революции 1917 года их повсюду в Европе великое множество, от Берлина до Лиссабона. Повсюду те же официанты, в прошлом аристократы, те же хоры из бывших гвардейских офицеров, те же высокие цены и то же меланхолическое настроение.

И освещение повсюду одинаковое, приглушенное, на какое я и рассчитывал. Немцы, о которых говорил официант, явно не были эмигрантами. Вероятно, шпионы, сотрудники посольства или служащие немецких фирм.

— Русские устроились получше, чем мы, — сказал Шварц. — Правда, они стали эмигрантами на пятнадцать лет раньше. А пятнадцать лет несчастья — долгий срок, много опыта накопишь.

— Они были первой волной эмиграции, — заметил я. — Им еще сочувствовали. Разрешали работать, выдавали документы. Нансеновские паспорта. Когда эмигрантами стали мы, мир давным-давно израсходовал свое сочувствие. Мы

были докучливы, как термиты, и почти никто за нас не вступался. Мы не вправе работать, не вправе существовать, и документов у нас нет как нет.

С первой же минуты в клубе я занервничал. Вероятно, объяснялось это изолированностью помещения с множеством занавесей, сознанием, что здесь присутствуют немцы, и тем, что сидел я слишком далеко от двери — не убежишь, а я привык всюду сидеть рядом с выходом. Вдобавок я больше не видел парохода, что опять-таки усиливало нервозность. Кто знает, вдруг он снимется с якоря ночью, раньше объявленного срока, по причине непредвиденных обстоятельств.

Шварц, похоже, это почувствовал. Слазил в карман, положил билеты передо мной:

— Возьмите. Я не работорговец. Возьмите их и уходите, если хочется.

Сгорая от стыда, я посмотрел на него:

— Вы превратно меня поняли. У меня есть время. Сколько угодно.

Шварц не ответил. Ждал. Я взял билеты, спрятал в карман.

— Я постарался найти поезд, который прибывал в Оснабрюк под вечер, — продолжал он как ни в чем не бывало. — Меня вдруг охватило ощущение, будто я только теперь пересеку границу. Все

прежнее было еще чужбиной, даже Германия, но теперь каждое дерево мало-помалу заговорило. Мы проезжали через знакомые деревни, я бывал там в школьных походах, бывал с Хелен в первые недели нашего знакомства, любил эти места, как любил и сам город с его домами и садами.

До сих пор мое отвращение было абстрактным монолитом. Случившееся оцепенило все во мне, превратило в камень. У меня никогда не возникало потребности, более того, я боялся анализировать его и детализовать. А теперь, нежданно-негаданно, заговорили вещи, имеющие к этому отношение, но никак со всем этим не связанные.

Ландшафт не изменился. Остался прежним. Церковные башни стояли, как раньше, все так же мягко зеленели патиной на фоне наступающего вечера; река, как всегда, отражала небо. Мне вспомнилось время, когда я ловил там рыбу и мечтал о приключениях в дальних странах — позднее приключений хватало, но не таких, какие я представлял себе тогда. Луга с мотыльками и стрекозами и склоны холмов с деревьями и полевыми цветами не изменились, остались прежними, как во времена моей юности, в них и была моя юность — погребенная, если угодно,

или сбереженная, если посмотреть иначе.

И ничто не нарушало эту картину. Людей из окна поезда я видел мало, а мундиров — вообще ни одного. Я видел только вечер, который медленно окутывал ландшафт. В крохотных садиках у домишек железнодорожных смотрителей уже распускались розы, и георгины, и лилии, как всегда; эта проказа их не тронула, они свисали с деревянных заборчиков, как и во Франции, а на лугах паслись коровы, как и на лугах в Швейцарии, бурые, черные, белые — без свастики, — с теми же, как обычно, терпеливыми глазами. Видел я и щелкающего клювом аиста на каком-то крестьянском доме, и ласточки летали, как летают везде и всегда. Только люди стали другими, я знал, но в этот вечер не мог ни увидеть, ни понять.

Да и другими они были не на один манер, как мне бездумно представлялось до сих пор. Купе заполнялось, пустело и заполнялось вновь. Людей в форме среди пассажиров было в этот час совсем немного, почти сплошь самый обыкновенный народ, с разговорами вроде тех, какие я слыхал во Франции и в Швейцарии, — о погоде, об урожае, о событиях дня и страхе перед войной. Они боялись ее, только вот за пределами Германии

все знали, что войны хочет Германия, а здесь я слышал, что заграница навязывает ее Германии. Почти каждый был за мир, как всегда накануне катастрофы.

Поезд остановился. Вместе с толпой других пассажиров я протиснулся через турникет. Зал ожидания не изменился с тех пор, как я видел его последний раз, только казался меньше и запыленнее, чем в памяти.

Едва я ступил на Вокзальную площадь, все, что я думал прежде, разом отпало. Вокруг было сумеречно и сыро, как после дождя, ландшафта я уже не видел, внезапно все во мне затрепетало, и я понял, что с этой минуты нахожусь в большой опасности. Одновременно меня не оставляло ощущение, что ничего со мной случиться не может. Я как бы стоял под стеклянным колпаком, который защищал меня, но в любую минуту мог разбиться.

Я вернулся в здание вокзала, к кассе, чтобы купить обратный билет до Мюнстера, — жить-то мне в Оснабрюке нельзя. Слишком опасно. «Когда отходит последний поезд?» — спросил я у служащего, который, сверкая лысиной, сидел в желтом свете за окошком, словно этакий захолустный будда, уверенный и неуязвимый.

«Один — в двадцать два двадцать, второй — в двадцать три двенадцать».

Я пошел к автомату, вытянул перронный билет. Пусть будет под рукой, на случай, если придется по-быстрому исчезнуть, в то время, когда мой билет еще не действует. Как правило, перроны — укрытия никудышные, но их хотя бы несколько (в Оснабрюке три), и можно вскочить в любой отъезжающий поезд, объяснить кондуктору, что ошибся, оплатить проезд и сойти на следующей остановке.

Я решил позвонить давнему другу, зная, что он не сторонник режима. По телефону выясню, сможет ли он мне посодействовать. Позвонить прямо жене я не рискнул, потому что не знал, живет ли она одна.

Я стоял в стеклянной кабинке, перед телефонным справочником и аппаратом. Пока листал страницы с замусоленными и загнутыми уголками, сердце так колотилось, что я прямо слышал его стук, опасался даже, что его слышат и другие, и нагнул голову пониже, чтобы меня не узнали. Не раздумывая, я открыл страницу на ту букву, с которой начиналась моя прежняя фамилия. И нашел свою жену, телефон был тот же, но адрес изменился. Рисмюллер-плац называлась теперь

Гитлер-плац.

Когда я увидел адрес, мне почудилось, будто тусклая лампочка в кабинке вспыхнула стократ сильнее. Я поднял голову, настолько отчетливым было ощущение, что глубокой ночью я стою в ярко освещенной стеклянной коробке… или на меня снаружи направлен прожектор. И мне вновь полностью открылось все безумие моей затеи.

Я вышел из кабинки, зашагал через полутемный зал ожидания. Плакаты общества «Сила через радость» и рекламы немецких курортов грозили мне своими синими небесами и радостными людьми. По-видимому, прибыло несколько поездов — толпа пассажиров поднималась по лестнице. От одной группы отделился эсэсовец. Пошел мне навстречу.

Я не побежал. Возможно, эсэсовец шел вовсе не ко мне. Однако он остановился перед мной, посмотрел на меня:

«Простите, огоньку не найдется?»

«Огоньку? — переспросил я и тотчас быстро добавил: — Ну конечно! Спички!»

Я пошарил в кармане.

«Зачем спички? — удивился эсэсовец. — Вы же курите сигарету!»

А я и не знал, что закурил. Протянул ему свою

сигарету. Он поднес свою к ее тлеющему кончику, потянул. «Что за сигарета у вас? Пахнет прямо как сигара!»

Это была французская «Голуаз». Собираясь через границу, я захватил с собой несколько пачек. «Подарок друга, — объяснил я. — Французский табачок. Черный. Привезен оттуда. На мой вкус, они чересчур крепкие».

Эсэсовец засмеялся. «Лучше совсем бросить курить, а? Как фюрер. Но кто сможет, особенно в нынешние времена?» Он козырнул и отошел.

Шварц слабо усмехнулся:

— В бытность человеком, который еще имел право ходить где угодно, я часто сомневался, читая, как писатели описывают страх и испуг… у жертвы, мол, замирает сердце, она стоит в оцепенении, купается в поту, по спине и по жилам пробегает мороз… я считал это штампами и дурным стилем… возможно, так оно и есть, но притом это чистая правда. Я на себе испытал, все правильно, хотя раньше, когда понятия об этом не имел, только смеялся.

Подошел официант:

— Не желаете компании, господа?

— Нет.

Он наклонился ко мне:

— Не хотите ли, прежде чем отказываться, взглянуть на двух дам у стойки?

Я посмотрел туда. Одна весьма хорошо сложена. Обе в вечерних платьях. Лиц не разглядеть.

— Нет, — повторил я.

— Это же дамы, — сказал официант. — Та, что справа, немка.

— Она вас сюда послала?

— Нет, сударь, — ответил официант с очаровательно невинной улыбкой. — Это моя идея.

— Ладно. Забудьте свою идею. Лучше принесите нам закусить.

— Чего он хотел? — спросил Шварц.

— Свести нас с внучкой Маты Хари. Наверно, вы дали ему чересчур много чаевых.

— Я пока не платил. Думаете, они шпионки?

— Возможно. Но в пользу единственного интернационала на свете: денег.

— Немки?

— Одна, по словам официанта.

— Как считаете, она здесь затем, чтобы заманивать немцев обратно?

— Вряд ли. В похищениях людей сейчас больше наторели русские.

Официант принес тарелку бутербродов. Я заказал их, потому что чувствовал действие вина.

Хотел сохранить ясность мысли.

— Не хотите поесть? — спросил я у Шварца.

Он рассеянно покачал головой:

— Я не подумал, что эти сигареты могут меня выдать. И еще раз проверил все, что имел при себе. Спички, тоже французские, я выбросил вместе с оставшимися сигаретами и купил немецкие. Потом вспомнил, что в паспорте у меня стоят французский въездной штамп и виза и, стало быть, в случае обыска французские сигареты были бы вполне оправданны. Мокрый от пота, злясь на себя и свой страх, я вернулся к телефонной кабинке.

Пришлось ждать. Женщина с большим партийным значком позвонила по двум номерам, пролаяла приказания. Третий номер не ответил, и она, злая и властная, вышла из кабинки.

Я позвонил другу. Ответил женский голос. «Будьте добры, можно поговорить с доктором Мартенсом? — спросил я и заметил, что охрип. «Кто у аппарата?» — осведомилась женщина.

«Друг доктора Мартенса». Назвать свое имя я не мог. Не знал, кто у телефона — его жена или прислуга, но ни той ни другой выдать себя не мог.

«Ваше имя, пожалуйста», — сказала женщина.

«Я друг доктора Мартенса, — повторил я. — Так

ему и скажите. По срочному делу».

«Сожалею, — сказал женский голос. — Если вы не назовете свое имя, я не смогу вас записать».

«Вам придется сделать исключение… — сказал я. — Доктор Мартенс ждет моего звонка».

«Если так, вы можете сказать мне свое имя…»

Я лихорадочно размышлял. Потом услышал, как положили трубку.

Я стоял на сквозняке, в сером здании вокзала. Первая попытка, казавшаяся мне очень простой, не удалась, и я уже не знал, как быть дальше. Может, надо было все-таки позвонить самой Хелен, пойти на риск, что кто-нибудь из ее семейства узнает меня по голосу. Я мог назвать и другое имя, но какое? Доктор Мартенс — никто иной мне сейчас в голову не приходил. Я все еще мешкал, когда в мозгу вдруг сверкнула мысль, до которой в десять лет я наверняка бы додумался первым делом. Почему бы не позвонить Мартенсу от имени брата жены? Он знал его и еще десять лет назад на дух не выносил.

Так я и сделал, не откладывая. По телефону снова ответил тот женский голос. «Георг Юргенс, — решительно произнес я. — Доктора Мартенса, пожалуйста».

«Это вы только что звонили?»

«Штурмбаннфюрер Юргенс. Мне нужно поговорить с доктором Мартенсом. Немедля!»

«Да-да, — сказала женщина. — Минуточку! Сейчас!»

Шварц посмотрел на меня:

— Вам знаком этот ужасный, тихий шум в трубке, когда ждешь у телефона свою жизнь?

Я кивнул:

— Не обязательно жизнь. Может быть, пытаешься призвать Ничто.

— Наконец я услышал: «Доктор Мартенс у аппарата», — сказал Шварц. — И опять почувствовал то самое, над чем раньше смеялся. В горле пересохло.

«Рудольф», — наконец прошептал я.

«Как вы сказали?»

«Рудольф, — повторил я. — Звонит родственник Хелен Юргенс».

«Не понимаю. Вы разве не штурмбаннфюрер Юргенс?»

«Я назвался его именем, Рудольф. И звоню насчет Хелен Юргенс. Теперь понимаешь?»

«Нет, совершенно не понимаю, — раздраженно сказал человек на другом конце линии. — У меня идет прием…»

«Я могу зайти к тебе на прием, Рудольф? Ты

очень занят?»

«Позвольте! Я вас не знаю, а вы…»

«Олд Шеттерхенд», — сказал я.

Наконец-то я вспомнил, как мы мальчишками называли друг друга, когда играли в индейцев. Именами из романов Карла Мая. В двенадцать лет мы буквально глотали эти книжки. Секунду в трубке молчали. Потом Мартенс тихо сказал: «Что?»

«Виннету, — продолжал я. — Ты забыл давние имена? Это же любимые книги фюрера».

«Верно», — сказал он. Все знали, что человек, развязавший Вторую мировую войну, для чтения на сон грядущий держал у себя в спальне тридцать с лишним томов про индейцев, трапперов и охотников, которые уже пятнадцатилетний мальчишка начинает воспринимать слегка иронически.

«Виннету?» — недоверчиво повторил Мартенс.

«Да. Мне нужно повидать тебя».

«Не понимаю. Где вы находитесь?»

«Здесь. В Оснабрюке. Где мы можем встретиться?»

«У меня сейчас прием пациентов», — машинально сказал Мартенс.

«Я болен. Могу прийти на прием».

«Ничего не понимаю, — сказал Мартенс, вполне решительно. — Если вы больны, приходите на прием. Зачем по телефону-то звонить?»

«Когда?»

«Лучше всего в семь тридцать. В семь тридцать, — повторил он. — Не раньше!»

«Ладно, в семь тридцать».

Я положил трубку. Опять весь в поту. Медленно направился к выходу. На улице нет-нет выглядывал из-за туч бледный месяц. Через неделю новолуние, подумалось мне. Хорошее время для перехода границы. Я посмотрел на часы. В моем распоряжении еще сорок пять минут. С вокзала надо уходить. Подозрительно, когда слишком долго там слоняешься. Я зашагал по той улице, что была самой темной и малолюдной. Она вела к старым городским валам. Часть их сровняли и засадили высокими деревьями; другая часть сохранилась и шла вдоль реки. Я двинулся в ту сторону, через площадь, мимо церкви Сердца Христова.

С верхнего вала виднелись городские крыши и башни на другом берегу. Барочный купол собора поблескивал в неверном свете. Я знал эту панораму, воспроизведенную на тысячах почтовых открыток. Знал запах воды и запах липовой ал-

леи, тянувшейся вдоль вала.

На лавочках в аллее сидели влюбленные пары, а лавочки были поставлены так, чтобы смотреть на реку и на город; я сел на свободную, чтобы подождать полчасика, а затем пойти к Мартенсу.

Зазвонили колокола собора. Я был настолько взбудоражен, что физически ощущал эти удары, будто они возникали в незримом теннисном матче двух игроков, бросавших их друг другу. Один игрок — мое давнее «я», знакомое мне, испуганное, охваченное страхом и не смеющее обдумать свое положение, а другой — второе, новое, не желавшее размышлять, дерзкое, рискующее собой, словно иначе и быть не может… странная шизофрения, в которой участвовал еще и третий, зритель, бесстрастный, как арбитр, пассивный, но желающий победы новому «я».

Я хорошо помню эти полчаса. Помню даже, что удивлялся, ощущая самого себя так остраненно. Мне казалось, я стоял в комнате, где на стенах друг против друга висят зеркала; они отбрасывали мой образ в даль пустой бесконечности, и за каждым отражением я видел еще одно, выглядывавшее из-за плеча первого. Зеркала казались старыми, потемневшими, и я не мог разглядеть выражение лица — вопросительное, печальное

или полное надежды. Все они угасали в серебристой тьме.

Какая-то женщина села рядом со мной. Я понятия не имел, чего она хотела, да и как знать, может, варварский режим успел давным-давно перевести и эти вещи в разряд военных учений. Поэтому я встал и пошел прочь. За спиной послышался смех женщины, я никогда его не забуду — тихий, слегка презрительный и сочувственный смех незнакомки на валу Херрентайхсвалль в Оснабрюке.

4

Приемная была пуста. Растения с длинными кожистыми листьями стояли на жардиньерке у окна. На столе лежали иллюстрированные журналы с фотографиями чиновных бонз режима, солдат и марширующего отряда гитлерюгенда на обложках. Потом я услыхал быстрые шаги. В дверях появился Мартенс. Пристально посмотрел на меня, снял очки, прищурил глаза. Свет в приемной был тусклый. И узнал он меня не сразу, вероятно из-за усов.

«Это я, Рудольф, — сказал я. — Йозеф».

Он поднял руку, зна́ком призывая к молчанию. Прошептал: «Откуда ты?»

Я пожал плечами. Какая разница? «Вот, приехал, — сказал я. — Ты должен мне помочь».

Он взглянул на меня. В тусклом освещении близорукие глаза походили на рыбьи за толстым стеклом аквариума. «Тебе разрешено находиться здесь?»

«Я сам себе разрешил».

«Как ты перешел границу?»

«Не все ли равно. Я приехал увидеть Хелен».

Он неотрывно глядел на меня. «Ты приехал ради этого?»

«Да», — ответил я.

Внезапно мной овладело спокойствие. Пока был один, меня снедала тревога. Но теперь волнения разом улетучились, потому что я обдумывал, как успокоить человека, которого застал врасплох.

«Ради этого?» — снова спросил он.

«Да, ради этого. И ты должен мне помочь».

«Господи!» — сказал он.

«Она умерла?» — спросил я.

«Нет, не умерла».

«Она в городе?»

«Да. Была в городе. По крайней мере, неделю назад».

«Мы можем говорить здесь?» — спросил я.

Мартенс кивнул. «Я отослал помощницу. Если придут пациенты, отошлю и их тоже. Ко мне в квартиру нельзя. Я женился. Два года назад. Ты понимаешь…»

Я понимал. В Тысячелетнем рейхе даже родственникам давно нельзя доверять. Спасители Германии ежедневно восхваляли доносы как национальную добродетель. Я испытал это на собственном опыте. На меня донес брат жены.

«Моя жена в партии не состоит, — быстро сказал Мартенс. — Но мы никогда не говорили… — он в замешательстве посмотрел на меня, — о подобных ситуациях. Я не знаю точно, что́ она может подумать. Заходи».

Он открыл дверь кабинета и запер ее за нами. «Оставь открытой, — сказал я. — Запертый кабинет подозрительнее, чем если нас увидят».

Он опять повернул ключ, посмотрел на меня. «Йозеф, ради бога, что ты здесь делаешь? Ты приехал украдкой?»

«Да. И тебе не нужно меня прятать. Я живу в гостинице за городом. А к тебе пришел просто потому, что не знаю никого другого, кто сообщил бы Хелен, что я здесь. Пять лет я ничего о ней не слышал. Не знаю, что с ней и как. Не знаю, вышла ли она снова замуж. Если вышла…»

«Ты поэтому и приехал?»

«Да, — удивленно ответил я. — Почему же еще?»

«Тебя надо спрятать, — сказал он. — Сегодня можешь переночевать здесь, в кабинете, на кушетке. Утром до семи я тебя разбужу. В семь придет уборщица. После восьми ты сможешь вернуться. Пациенты явятся не раньше одиннадцати».

«Она замужем?» — спросил я.

«Хелен? — Он покачал головой. — Думаю, она с тобой даже не разводилась».

«Где она живет? В старой квартире?»

«Должно быть».

«Там с ней живет кто-нибудь еще?»

«Кто?»

«Мать. Сестра. Брат. Кто-нибудь еще из родни».

«Этого я точно не знаю».

«Тогда узнай, — сказал я. — И скажи ей, что я здесь».

«Почему ты сам не скажешь? — спросил Мартенс. — Телефон к твоим услугам».

«А если она не одна? Если там брат, который однажды уже донес на меня?»

«Ты прав. Она, наверно, растеряется, как я. И тем себя выдаст».

«Я даже не знаю, как она ко мне относится, Рудольф. Пять лет прошло, а до того мы прожили в браке всего четыре года. Пять лет больше, чем четыре… а отсутствие вдесятеро длиннее совместной жизни». Он кивнул, потом сказал:

«Не понимаю я тебя».

«Вполне возможно. Я и сам себя не понимаю. Мы живем разными жизнями».

«Почему ты ей не писал?»

«Сейчас я не могу тебе объяснить, Рудольф. Сходи к Хелен. Поговори с ней. Разузнай, что она думает. Если сочтешь нужным, скажи ей, что я здесь, и спроси, как бы нам повидаться».

«Когда мне идти?»

«Прямо сейчас, — с удивлением сказал я. — Когда же еще?»

Он огляделся по сторонам. «А ты где будешь в это время? Здесь небезопасно. Жена пошлет вниз служанку, если я не появлюсь. Она привыкла, что, закончив прием, я поднимаюсь в квартиру. Или мне придется запереть тебя, но это опять-таки привлечет внимание».

«Я не хочу сидеть под замком, — сказал я. — Разве ты не можешь сказать жене, что должен навестить пациента?»

«Это я ей потом скажу. Так проще».

В его глазах блеснул огонек, и мне почудилось, будто левый на секунду слегка прищурился. Прямо как в детстве. «Пойду пока в собор, — сказал я. — Церкви сейчас еще более-менее безопасны, точно в Средневековье. Когда тебе позвонить?»

«Через час. Назовись Отто Штурмом. Но как я тебя найду? Может, все-таки пойдешь куда-нибудь, где есть телефон?»

«Где телефон, там и опасность».

«Да, пожалуй. — Секунду он стоял в нерешительности. — Да, пожалуй, ты прав. Если я к тому времени не вернусь, перезвони еще разок… или оставь сообщение, где находишься».

«Ладно».

Я взял шляпу.

«Йозеф», — сказал он.

Я обернулся.

«Как там, за границей? — спросил он. — Ну… безо всего…»

«Безо всего? Примерно так: безо всего. Почти. А как здесь? Со всем, кроме одного?»

«Паршиво, — сказал он. — Паршиво, Йозеф. Но с виду блестяще».

Самыми малолюдными улицами я направился к собору. Идти было недалеко. На Кранштрассе мимо прошагала рота солдат. Они пели какую-то незнакомую песню. На Соборной площади я опять увидел солдат. Чуть дальше, перед тремя крестами Малой церкви, стояли вплотную друг к другу сотни две-три людей. Почти все в партийной форме. Я услышал голос и поискал оратора, но не нашел. Лишь немного погодя углядел на возвышении черный громкоговоритель. Он стоял там — освещенный, голый, сиротливый автомат — и кричал о праве на возвращение

всех германских земель, о большой Германии, о возмездии и о том, что миру будет гарантирован мир, если он поступит так, как хочет Германия, и это справедливо.

Вновь задул ветер, качающиеся ветви бросали свои беспокойные тени на лица, на кричащую машину и безмолвные каменные скульптуры на церковной стене у них за спиной — распятого Христа и двух разбойников. Лица у слушателей были сосредоточенные и просветленные. Они верили всему, что им кричал автомат, и, что характерно для странного гипноза, который здесь происходил, аплодировали тому, кто не мог ни слышать их, ни видеть, аплодировали как человеку. Мне это показалось характерным и для пустой, мрачной одержимости нашего времени, которое в страхе и истерике следует лозунгам, безразлично, выкрикивает ли их представитель левых или правых, главное, чтобы крикун избавлял массу от тягостных размышлений и от ответственности, что придется выступить за то, чего она боится и чего не избежит.

Я не ожидал застать в соборе столько народу. Лишь немного погодя сообразил, что на дворе конец мая, а в этом месяце богослужение совершают каждый вечер. Секунду я прикидывал, не лучше

ли пойти в одну из протестантских церквей, но не знал, открыты ли они вечером. Неподалеку от входа я протиснулся в пустую скамью. У алтаря мерцали свечи; в остальном храм был освещен слабо, и узнать меня будет нелегко.

Священник медленно прохаживался взад-вперед возле алтаря, в облаке ладана, парчи и света, в окружении служек в красных облачениях и белых стихарях, с дымящимся кадилом. Я слышал орган и пение хора, и вдруг мне почудилось, будто я вижу те же восторженные лица, что и на улице, глаза, тоже словно находящиеся в отрешенном сне наяву, полные веры без вопросов и жажды безопасности и безответственности. Все здесь было кротко и мягче, нежели за стенами, но эта религия любви к Господу и ближнему не всегда была столь кроткой: на протяжении темных веков она тоже стоила большой крови. А когда ее самое уже не преследовали, она тоже начала преследовать — кострами инквизиции, мечом и пыткой. Брат Хелен, глумливо смеясь, объяснил мне это в лагере: «Мы заимствовали методы у вашей церкви. Ваша инквизиция с камерами пыток во имя Господа научила нас, как надо обращаться с врагами веры. Мы даже менее фанатичны, заживо сжигаем очень редко».

Пока он это объяснял, я висел на кресте — то был один из довольно безобидных способов выжать из арестантов имена.

Священник у алтаря поднял золотой ковчег, благословил толпу. Я сидел очень тихо, но мне казалось, будто я плыву в прохладном потоке дыма, утешения и света. Затем запели последний хорал: «Будь ночью мне защитою и стражем». Я пел его в детстве, и в ту пору опасностью казалась мне ночная тьма, теперь же опасностью был свет.

Верующие начали расходиться. Мне оставалось ждать еще четверть часа, и я отодвинулся в угол, к большой колонне из тех, что подпирали свод.

В тот же миг я увидел Хелен. Сперва как этакий вихрь среди выходящих. Кто-то там пробирался против течения, раздвигал людей, проскальзывал между ними. Секунду-другую я видел светлое, сердитое и решительное лицо и подумал: вот женщина что-то забыла. Я не сразу узнал ее, потому что никак не ожидал здесь увидеть. Только когда она оказалась чуть впереди меня, там, где толпа поредела, по движению плеча, которым она разделяла людской поток, я понял, что это она. Она словно бы никого не толкала, проскальзывая меж людьми, и скоро стояла почти свободно в широком центральном проходе перед

свечами, на фоне сине-алой тьмы высоких романских окон, внезапно худенькая и маленькая, уже, считай, совсем одна, потерянная.

Я встал, чтобы привлечь ее внимание. Помахать рукой не смел. Народу было еще слишком много, в церкви такой жест бросится в глаза. Она жива — вот о чем я подумал в первую очередь. Не умерла и не больна! Странно, в нашей ситуации всегда первым делом думаешь именно об этом! Диву даешься, что какие-то вещи не изменились… что кто-то по-прежнему жив.

Она шла дальше, быстрыми шагами, к хорам. Я вылез из скамьи, пошел следом. У скамьи причащающихся она остановилась, обернулась. Присмотрелась к людям, которые еще преклоняли колени в скамьях, потом медленно пошла по проходу обратно. Я остановился. Она была настолько уверена, что найдет меня в одной из скамей, что прошла вплотную мимо меня, почти задела плечом. Я последовал за ней. «Хелен, — сказал я, когда она опять остановилась, сказал прямо ей в ухо. — Не оборачивайся! Выйди на улицу! Я пойду за тобой. Здесь нас не должны увидеть».

Она вздрогнула, как от удара, пошла дальше. Зачем только она явилась сюда? Мы очень риско-

вали быть узнанными. Хотя я ведь тоже не знал, что здесь будет столько народу.

Я смотрел, как она идет впереди, но не чувствовал ничего, кроме тревоги: надо как можно скорее выбраться из церкви. Хелен была в черном костюме и крохотной шляпке, голову она держала очень высоко, чуть-чуть склонив набок, словно прислушивалась к моим шагам. Я немного отстал, но так, чтобы не потерять ее из виду; я по опыту знал, что человека нередко опознаю́т только оттого, что он стоит слишком близко от другого.

Она прошла мимо каменной чаши со святой водой, через большой портал и сразу свернула налево. Вдоль стены собора вела широкая, вымощенная плитами дорожка, отделенная от большой соборной площади чугунными цепями на столбиках из песчаника. Она перепрыгнула через цепи, прошла несколько шагов в темноту и обернулась. Не могу объяснить, что́ я почувствовал в этот миг. Если скажу, что там, впереди, шла вся моя жизнь, как бы уходила прочь и вдруг обернулась и посмотрела на меня… это опять будет штамп, правда и неправда, но я все равно чувствовал так, и не только. Я пошел навстречу Хелен, навстречу ее тонкой темной фигурке,

бледному лицу, глазам, губам, и оставил позади все, что было. Время, проведенное в разлуке, не исчезло, осталось, но казалось чем-то, что я прочитал, но не пережил.

«Откуда ты взялся?» — спросила Хелен чуть ли не враждебно, пока я шел к ней.

«Из Франции».

«Они тебя впустили?»

«Нет. Я пересек границу нелегально».

Вопросы почти те же, какие задавал Мартенс.

«Почему?» — спросила она.

«Чтобы увидеть тебя».

«Тебе не следовало приезжать!»

«Знаю. Я твердил себе это каждый день».

«И почему же приехал?»

«Если б знал, меня бы здесь не было».

Я не смел поцеловать ее. Она стояла совсем близко, но так неподвижно, будто разобьется, если дотронешься. Я не знал, о чем она думает, но снова увидел ее, она была жива, и теперь я мог уйти или ждать, что произойдет.

«Ты не знаешь?» — спросила она.

«Завтра буду знать. Или через неделю. Или позднее».

Я смотрел на нее. Что тут надо знать? Знание — всего лишь клочок пены, пляшущий на волне.

Любой ветерок мог его сдуть, а волна оставалась.

«Ты приехал», — сказала Хелен, и лицо ее утратило неподвижность, стало нежным, она шагнула поближе. Я держал ее за плечи, ее ладони упирались мне в грудь, словно она хотела оттолкнуть меня. Казалось, мы давно уже стоим вот так вдвоем, друг против друга, на черной, ветреной Соборной площади, а уличный шум достигает нас лишь издалека, приглушенно, словно сквозь звукопоглощающую стеклянную стену. Слева, в сотне шагов, через площадь, высился ярко освещенный городской театр с широкими белыми ступенями, и я до сих пор помню, как на мгновение смутно удивился, что там еще играют спектакли, а не устроили казарму или тюрьму.

Мимо прошла группа людей. Кто-то засмеялся, некоторые оглянулись на нас.

«Идем, — шепнула Хелен. — Нельзя здесь оставаться».

«Куда же мы пойдем?»

«В твою квартиру».

Мне показалось, я ослышался.

«Куда?» — переспросил я.

«В твою квартиру. Куда же еще?»

«Меня могут узнать в подъезде! Разве жильцы в доме не те, что раньше?»

«Тебя не увидят».

«А прислуга?»

«Я отошлю ее на сегодняшний вечер».

«А завтра утром?»

Хелен посмотрела на меня.

«Ты приехал из такой дали, чтобы задавать мне эти вопросы?»

«Я приехал не затем, чтобы меня схватили, а тебя посадили в лагерь, Хелен».

Она вдруг улыбнулась:

«Йозеф, ты не изменился. Как ты только сумел добраться сюда?»

«Сам не знаю. — Невольно я тоже улыбнулся. Воспоминание о том, что́ она, бывало, наполовину с гневом, наполовину с отчаянием говорила о моей осмотрительности, разом стерло опасность. — Но я здесь».

Она покачала головой, и я увидел, что ее глаза полны слез.

«Пока нет, — возразила она. — Пока нет! А теперь идем, или нас в самом деле арестуют, ведь со стороны кажется, будто я закатываю тебе скандал».

Мы пошли через площадь. «Я не могу сразу идти с тобой, — сказал я. — Сперва ты должна отослать прислугу! Я снял номер в одной из мюнстерских

гостиниц. Там меня никто не знает. Собирался пожить там».

Она остановилась. «Как долго?»

«Не знаю, — ответил я. — Я не мог думать вперед, думал только о том, что хочу увидеть тебя, а потом как-нибудь вернуться».

«Через границу?»

«Куда же еще, Хелен?»

Она наклонила голову, пошла дальше. Я думал, что сейчас мне положено быть очень счастливым, но ничего такого не чувствовал. Наверно, по-настоящему всегда чувствуешь это лишь задним числом. Теперь… теперь я знаю, что был счастлив.

«Мне надо позвонить Мартенсу», — сказал я.

«Можешь позвонить из своей квартиры», — ответила Хелен. Всякий раз, когда она упоминала про мою квартиру, меня словно током ударяло. Она делала так нарочно. Не знаю почему.

«Я обещал Мартенсу позвонить через час, — сказал я. — Пора. Если не позвоню, он решит, что-то случилось. И глядишь, совершит какую-нибудь оплошность».

«Он знает, что я пошла за тобой».

Я взглянул на часы. Со звонком я опоздал уже на четверть часа. «Я могу позвонить из ближайшего

кафе, — сказал я. — Минутное дело».

«Господи, Йозеф! — рассердилась Хелен. — Ты и правда не изменился. Стал еще бóльшим педантом».

«Это не педантизм. Это опыт. Я слишком часто видел, сколько бед может случиться, когда забывают о мелочах. И слишком хорошо знаю, что значит ожидание под угрозой опасности. — Я взял ее под руку. — Без такого педантизма меня бы уже не было в живых, Хелен».

Она крепко стиснула мое плечо и пробормотала: «Я знаю. Разве ты не видишь, что мне страшно, как бы чего не случилось, если я хоть на секунду оставлю тебя одного?»

Я ощутил все тепло мира. «Ничего не случится, Хелен. В это тоже можно верить. При всем педантизме».

Она улыбнулась, подняла бледное лицо: «Иди звони! Но не из кафе. Вон там есть телефонная будка. Ее установили, пока тебя не было. Там безопаснее, чем в кафе».

Я зашел в стеклянную будку. Хелен осталась снаружи. Позвонил Мартенсу. Занято. Немного подождал, позвонил еще раз. Монета с дребезжанием выпала, номер был по-прежнему занят. Я встревожился. Сквозь стекло я видел Хелен:

она сосредоточенно расхаживала взад-вперед. Я сделал ей знак, но она на меня не глядела. Наблюдала за улицей, вытянув шею, всматриваясь, но стараясь не слишком это показывать, страж и ангел-хранитель одновременно, в превосходно сидящем костюме, как я теперь заметил. Пока ждал, заметил и что она подкрасила губы. В желтом свете они казались черными. А я вдруг вспомнил, что косметика и губная помада в новой Германии не приветствовались.

На третий раз я дозвонился до Мартенса.

«Жена говорила по телефону, — сказал он. — Почти полчаса. Я не мог ее прервать. О платьях, войне и детях».

«Где она сейчас?»

«На кухне. Пришлось дать ей поговорить. Понимаешь?»

«Да. Все в порядке. Спасибо, Рудольф. Забудь про все».

«Ты где?»

«На улице. Спасибо тебе, Рудольф. Больше мне ничего не требуется. Я все нашел. Мы вместе».

Сквозь стекло я смотрел на Хелен, хотел положить трубку. «Крыша над головой у тебя есть?» — спросил Мартенс.

«Думаю, да. Не беспокойся. Забудь этот вечер,

как сон».

«Если я могу сделать еще что-нибудь, — помедлив, сказал он, — сообщи. Сегодня я просто был слишком ошеломлен. Понимаешь…»

«Да, Рудольф, понимаю. И если мне что-то понадобится, сообщу».

«Если захочешь тут переночевать… мы бы могли еще поговорить…»

Я улыбнулся: «Посмотрим. Сейчас мне пора закругляться…»

«Да, конечно, — поспешно сказал он. — Извини. Удачи, Йозеф! В самом деле!»

«Спасибо, Рудольф».

Я вышел из душной будки. Порыв ветра налетел на меня, едва не сорвал шляпу. Хелен быстро подошла. «Идем домой! Ты заразил меня своей осторожностью. Не могу отделаться от ощущения, будто из темноты пялятся сотни глаз».

«Прислуга у тебя все та же?»

«Лена? Нет, она шпионила для моего брата. Он хотел знать, пишешь ли ты мне. Или я тебе».

«А нынешняя?»

«Глупая и равнодушная. Я могу отослать ее, она только обрадуется и раздумывать не станет».

«Ты ее еще не отослала?»

Она улыбнулась и вдруг очень похорошела.

«Сперва я должна была убедиться, что ты вправду здесь».

«Отошли ее до моего прихода, — сказал я. — Она не должна нас видеть. Может, пойдем куда-нибудь в другое место?»

«Куда?»

Действительно, куда? Хелен вдруг рассмеялась: «Стоим тут как подростки, которые вынуждены встречаться тайком, потому что родители считают их слишком маленькими! Куда мы можем пойти? В дворцовый парк? Его в восемь закрывают. Посидеть на лавочке где-нибудь в городском сквере? В кондитерскую? Слишком уж опасно!»

Она была права. Мелочи, которых я не предусмотрел… их никогда не предугадаешь. «Да, — сказал я. — Мы как подростки. Нас словно отбросило назад, в юность».

Я посмотрел на нее. Ей было двадцать девять, но казалась она той же, какой я ее знал. Минувшие пять лет как бы исчезли, стекли, как вода с молодого тюленя. «Я и приехал сюда как подросток, — сказал я. — Все говорило против этого, но я, как подросток, не думал вперед. Не знал даже, не живешь ли ты давным-давно с кем-нибудь другим».

Она не ответила. Каштановые волосы блесте-

ли в свете фонаря. «Я пойду первой и отошлю прислугу, — сказала она. — Но мне ненавистно оставлять тебя одного на улице. Вдруг ты опять исчезнешь… как и появился. Где побудешь?»

«Там, где ты меня нашла. В какой-нибудь церкви. Могу вернуться в собор. Церкви безопасны, Хелен. Я стал большим знатоком французских, швейцарских и итальянских церквей и музеев».

«Приходи через полчаса, — шепнула она. — Помнишь окна нашей квартиры?

«Да», — ответил я.

«Если угловое окно будет открыто, значит, все в порядке, и ты можешь подняться наверх. Если оно будет закрыто, дождись, когда я его открою».

Я невольно вспомнил Мартенса и детство, когда мы играли в индейцев. Тогда сигналом служила свеча в окне… сигналом для Кожаного Чулка или Виннету, ожидавшего внизу. Все повторяется? Неужели что-то в самом деле повторяется?

«Хорошо», — сказал я, собираясь уходить.

«Куда пойдешь?»

«Погляжу, открыта ли еще церковь Девы Марии. Помнится, это прекрасный образец готического зодчества. Я научился ценить такие вещи».

«Перестань! — сказала она. — Достаточно и того, что я должна оставить тебя одного».

«Хелен, — сказал я. — Я умею быть осторожным».

Она покачала головой. Лицо вдруг утратило все претензии на храбрость. «Недостаточно, — сказала она. — Недостаточно. Что мне делать, если ты не придешь?»

«Ничего. Телефон у тебя тот же?»

«Да».

Я тронул ее плечо. «Хелен, все будет хорошо».

Она кивнула: «Я провожу тебя до церкви Девы Марии. Хочу убедиться, что там ты в безопасности».

Мы молча зашагали по улице. Идти было недалеко. Хелен покинула меня, не сказав ни слова. Я смотрел ей вслед, пока она шла через Рыночную площадь. Шла быстро, не оглядываясь.

Я остановился в тени портала. Справа в тени была ратуша, только на каменных лицах старинных изваяний поблескивала полоска лунного света. С этого крыльца в 1648 году объявили об окончании Тридцатилетней войны, а в 1933-м — о начале Тысячелетнего рейха. Интересно, доживу ли я до той поры, когда отсюда же объявят о его конце. Вряд ли, надежды маловато.

Войти в церковь я не пытался. Мне вдруг стало противно прятаться. Разумеется, я не хотел дей-

ствовать неосторожно, но, увидев Хелен, более не желал без нужды быть загнанным зверем.

Чтобы не привлекать внимания, я пошел дальше. Город, прежде опасный, знакомый и вместе чужой, теперь стал оживать. Я это чувствовал, потому что оживал сам. Анонимное существование последних лет, по сути всего-навсего выживание, бесплодное прозябание от одного дня к другому, вдруг показалось мне уже не столь бесполезным. Оно сформировало меня, и, словно утлый цветок, распустившийся тайком, неожиданно возникло чувство жизни, мне ранее неведомое. Оно не имело отношения к романтике, но было таким новым и волнующим, как огромный, сияющий тропический цветок, точно по волшебству явившийся на заурядном кусте, от которого ожидали разве что несколько скромных, заурядных бутончиков. Я вышел к реке и остановился на мосту, глядя через парапет на воду. Слева от меня стояла средневековая сторожевая башня, где теперь устроили прачечную. Окна были освещены, девушки еще работали. Свет широкими отблесками бежал внизу по воде. Черный вал с липами рисовался на фоне высокого неба, а справа — сады и силуэт собора над ними.

Я стоял очень тихо, совершенно расслабившись.

Слышался только плеск воды и приглушенные голоса прачек за окнами. Я не мог разобрать, о чем они говорят. Слышал просто человеческие звуки, еще не ставшие словами. Всего лишь знаки, что рядом люди, — но покуда не знаки лжи, обмана, глупости и адского одиночества, что содержались бы в них, готовых словах, как обертоны чисто запланированной мелодии.

Я дышал, и мне казалось, я дышу в том же ритме, что и вода. На мгновение, на вневременное мгновение, мне даже почудилось, будто я часть моста и вода течет, как мое дыхание, течет сквозь меня. Я полагал это естественным и не удивлялся. И не думал, мысли мои стали столь же бессознательными, как дыхание и вода.

Прикрытый огонек быстро двигался по черной липовой аллее слева от меня. Я следил за ним взглядом, потом опять услышал голоса прачек. Сообразил, что некоторое время их не слышал. Теперь я снова почуял и запах лип. Легкий ветерок нес его по-над водой.

Подвижный огонек погас, одновременно погасли и окна у меня за спиной. С минуту вода была черной и смолистой, потом возникли узкие отблески луны, которых прежде не было видно из-за более яркого света прачечной. Теперь,

оставшись одни, они заиграли нежнее и многообразнее, чем давешний резкий желтый свет. Я думал о своей жизни, где много лет назад тоже угас огонь, и спрашивал себя, не появится ли и в ней множество мягких огоньков, которых я раньше никогда не видел, вот как сейчас отблески луны на воде. До сих пор я ощущал лишь утрату, мне и в голову не приходило, что, может статься, благодаря этому я кое-что и обрел.

Я покинул мост и прогуливался по валу, пока не истекли полчаса ожидания. Запах лип в ночи набирал силу, луна осыпала серебром кровли и башни. Город как бы отчаянно стремился доказать мне, что я создал себе ложное представление… что нигде меня не караулит опасность… что после долгих блужданий я спокойно могу вернуться и снова быть самим собой.

Сопротивляться этому не было нужды. Что-то во мне автоматически стояло на страже, охраняло со всех сторон. Слишком часто меня именно в такой ситуации брали под арест в Париже, в Риме и в других городах — погруженного в красоту, убаюканного безопасностью создаваемой ею обманчивой иллюзии любви, понимания и забвения. Полицейские не забывали. И доносчики не становились святыми от лунного света и

аромата лип.

Я направился к Гитлер-плац, осторожно, все мои чувства были напряжены, как крылья летучей мыши. Дом стоял на углу, где одна из улиц вливалась в площадь. Улица еще носила давнее название.

Окно было открыто. Мне вдруг вспомнились легенда о Геро и Леандре и сказка о королевских детях, где монахиня погасила свечу и королевский сын утонул, — я не королевский сын, думал я, а у немцев много очень красивых сказок и, несмотря на это или, возможно, как раз поэтому — самые страшные концлагеря на свете. Я спокойно пересек улицу, ведь это был не Геллеспонт и не северное море.

В подъезде кто-то был, шел мне навстречу. Повернуть назад я уже не мог, продолжал идти к лестнице, будто знал, куда мне надо. Это оказалась пожилая женщина, которой я по прежним временам не знал. Сердце у меня сжалось, — Шварц улыбнулся, — вот вам опять штамп, которому веришь, только когда изведаешь на собственном опыте. Я не оглянулся, услышал, как захлопнулась входная дверь, и быстро поднялся наверх.

Дверь была чуть-чуть приоткрыта. Я толкнул

ее и очутился лицом к лицу с Хелен. «Тебя кто-нибудь видел?» — спросила она.

«Да, пожилая женщина».

«Без шляпы?»

«Да, без шляпы».

«Должно быть, моя прислуга. У нее комната в мансарде. Я сказала, что она свободна до вечера понедельника, и она, видимо, замешкалась у себя. Служанки считают, людям на улице больше делать нечего, кроме как критиковать их одежду».

«К черту прислугу, — сказал я. — Кто бы эта женщина ни была, меня она не узнала. Я сразу чую, когда меня узнают».

Хелен забрала у меня плащ и шляпу, хотела повесить на вешалку. «Не здесь, — сказал я. — В шкаф. Вдруг кто-нибудь придет и увидит».

«Никто не придет», — сказала Хелен и впереди меня прошла в комнату.

Я обернулся и повернул в замке ключ. Потом последовал за ней.

В первые годы эмиграции я часто думал о своей квартире, позднее же старался ее забыть. Теперь, находясь в ней, я мало что почувствовал. Она была словно картина, которой я некогда владел и которая напоминала мне об определенном периоде моей жизни. Я стоял в дверях, глядя по

сторонам. Почти ничего не изменилось. Диван и кресла обиты заново.

«Раньше они, кажется, были зелеными?» — спросил я.

«Голубыми», — ответила Хелен.

Шварц повернулся ко мне:

— У вещей своя жизнь, и просто страх берет, когда сравниваешь ее со своей собственной.

— А зачем сравнивать? — спросил я.

— Вы не сравниваете?

— Сравниваю, но не на разных уровнях. Ограничиваюсь самим собой. Когда голодный стою возле порта, сравниваю себя с воображаемым «я», которое вдобавок болеет раком. И тогда на минуту бываю счастлив, потому что не болею раком, только голоден.

— Рак, — сказал Шварц, пристально глядя на меня. — Почему рак?

— Я мог бы сказать и сифилис. Или туберкулез. Рак — самое первое, что приходит в голову.

— Самое первое? — Шварц по-прежнему не сводил с меня глаз. — А по-моему, самое последнее! Самое последнее! — повторил он.

— Ладно, — уступил я. — Пусть самое последнее. Я упомянул его просто для примера.

— Он самое последнее и потому непостижи-

мое.

— Такова любая смертельная болезнь, господин Шварц. Всегда.

Он молча кивнул. Потом спросил:

— Вы еще голодны?

— Нет. А что?

— Вы что-то сказали об этом.

— Опять-таки для примера. Сегодня благодаря вам я уже дважды поужинал.

Он поднял голову.

— Как звучит! Ужинать! Как утешительно! Как недостижимо, когда все минует!

Я молчал. Немного погодя он уже спокойнее сказал:

— Желтые кресла. Их заново обтянули, вот и все, за те пять лет, когда мое бытие проделало десяток иронических сальто. Порой все как-то не сходится, вот что я имел в виду.

— Да. Человек умирает, а кровать остается. Дом остается. Вещи остаются. Хочется и их уничтожить.

— Нет, если они тебе безразличны.

— Не стоит их уничтожать, — сказал я. — Человек не настолько важен.

— Вот как? — отозвался Шварц, повернув ко мне неожиданно растерянное лицо. — Не важен?

Ну конечно! Но скажите мне: что же важно, коль скоро не важна жизнь?

— Ничто, — ответил я, зная, что это и правда, и неправда. — Только одни мы придаем ей важность.

Шварц поспешно отхлебнул темного вина.

— А почему? — громко спросил он. — Вы можете мне сказать, почему нам не стоит придавать ей важность?

— Нет, не могу. Это просто глупая болтовня. Я и сам считаю жизнь достаточно важной.

Я взглянул на часы. Начало третьего. Оркестр играл танцевальную музыку, танго, и короткие приглушенные возгласы корнета напомнили мне далекие гудки отплывающего корабля. Еще несколько часов, подумал я, и наступит рассвет, тогда я смогу уйти. Ощупал карман. Билеты на месте. А я было решил, что их там нет; непривычная музыка, вино, занавешенные помещения и голос Шварца убаюкивали, казались нереальными.

— Я так и стоял в дверях гостиной, — продолжал Шварц. — Хелен посмотрела на меня, спросила: «Твоя квартира стала для тебя настолько чужой?»

Я покачал головой, сделал несколько шагов вперед. Странное смущение охватило меня. Вещи

словно хотели прикоснуться ко мне, но для них я перестал быть своим. Меня пронзил ужас: вдруг я и для Хелен уже чужой? «Все, как было, — поспешно сказал я, с отчаянием и с жаром. — Все, как было, Хелен».

«Нет, — возразила она. — Все теперь иначе. Почему ты вернулся? Поэтому? Чтобы все было как раньше?»

«Нет, — сказал я. — Знаю, так не бывает. Но разве мы не жили здесь? Где все это?»

«Не здесь. И не в старой одежде, которую мы выбросили. Ты об этом?»

«Нет. Я спрашиваю не о себе. Но ты все время была здесь. Я спрашиваю о тебе».

Хелен как-то странно посмотрела на меня. «Почему ты раньше никогда не спрашивал?» — помолчав, сказала она.

«Раньше? — недоуменно спросил я. — Почему раньше? Я не мог приехать».

«Раньше. До того, как уехал».

Я не понимал ее. «О чем я должен был спросить, Хелен?»

Она помолчала. «Почему ты не спросил, поеду ли я с тобой?» — наконец сказала она.

Я уставился на нее. «Со мной? Отсюда? От твоей семьи? От всего, что ты любила?»

«Я ненавижу свою семью».

Я вконец растерялся. «Ты не знаешь, что такое чужбина», — наконец пробормотал я.

«В ту пору ты тоже не знал».

Это правда. «Я не хотел увозить тебя отсюда», — неуверенно ответил я.

«Ненавижу. Все здесь ненавижу! Почему ты вернулся?»

«Тогда ты все это не ненавидела».

«Почему ты вернулся?» — повторила она.

Она стояла в другом конце комнаты, и разделяло нас нечто большее, чем желтые кресла, и нечто большее, чем пять лет времени. Внезапно мне навстречу хлынули враждебность и явное разочарование, и я смутно ощутил, что своим, как мне казалось, вполне естественным желанием не обрекать ее на тяготы, пожалуй, очень ее обидел: сам бежал, а ее оставил.

«Почему ты вернулся, Йозеф?» — спросила Хелен.

Я бы с радостью ответил, что вернулся из-за нее, но в ту минуту не смог дать такой ответ. Все не так-то просто. Я вдруг понял — понял лишь в ту минуту, — что назад меня гнало спокойное, ясное отчаяние. Все мои резервы были истрачены, а простой воли выжить никак не хватит, чтобы

и дальше противостоять стуже одиночества. Я оказался неспособен выстроить себе новую жизнь. Да, по сути, никогда по-настоящему и не хотел. С прошлой своей жизнью и с той отнюдь не совладал, не смог ни покинуть ее, ни преодолеть, началась гангрена, и мне осталось только сделать выбор: сдохнуть в смраде гангрены или вернуться и попробовать ее излечить.

Я никогда особо не задумывался об этом, да и сейчас уяснил себе лишь в общих чертах, но ощутил как избавление, что хотя бы это теперь знаю. Тяжесть и смущение отступили. Теперь я понимал, почему приехал. После пяти лет эмиграции я привез сюда лишь обостренность восприятия, готовность жить и осторожность и опыт беглого преступника. Все прочее потерпело крах. Множество ночей меж границами, чудовищная тоска бытия, которому дозволено бороться лишь за крохи еды да несколько часов сна, подпольное, кротовье существование — все исчезло без следа, пока я стоял на пороге своей квартиры. Я потерпел крах, обанкротился, но долгов за мной не осталось. Я был свободен. «Я» тех лет покончило самоубийством, когда я пересек границу. Это не возвращение. Я умер, жило другое «я», жило даровым временем. Ответственности больше не

было. Бремя отпало.

Шварц повернулся ко мне:

— Вы понимаете, о чем я? Я повторяюсь и рассуждаю противоречиво.

— Думаю, да, понимаю, — ответил я. — Возможность самоубийства — это милость, какую редко осознаешь. Она дает человеку иллюзию свободной воли. И вероятно, мы совершаем больше самоубийств, чем полагаем. Просто не знаем об этом.

— Вот именно! — оживленно сказал Шварц. — Если б мы только осознали их как самоубийства! Тогда были бы способны воскресать из мертвых. Могли бы прожить несколько жизней, а не тащить от кризиса к кризису язвы опыта и в конце концов погибать от них.

— Хелен я этого, конечно, объяснить не мог, — продолжал он. — Да и нужды не было. При той легкости, какую вдруг ощутил, я даже потребности такой не испытывал. Напротив, чувствовал, что объяснения лишь запутают. Вероятно, ей хотелось услышать, что я вернулся ради нее, но я, с моей новой проницательностью, понимал, что этим себя погублю. Тогда прошлое навалится на нас со всеми своими аргументами насчет вины, и ошибки, и обиженной любви, и мы никогда

из этого не выберемся. Если идея духовного самоубийства, теперь чуть ли не радостная, имеет смысл, то ей надлежит быть еще и полной и охватывать не только годы эмиграции, но и годы до нее, иначе будет опасность второй гангрены, даже более застарелой, и она немедля проявится. Хелен стояла там как враг, готовый нанести удар любовью и точным знанием моих уязвимых мест, а я был в настолько невыгодном положении, что вообще не имел шансов. Если раньше я испытывал избавительное ощущение смерти, то теперь оно обернется мучительным моральным издыханием — уже не смертью и воскресением, но полнейшим уничтожением. Женщинам ничего объяснять не стоит, надо действовать.

Я шагнул к Хелен. Коснувшись ее плеч, я почувствовал, что она дрожит. «Почему ты вернулся?» — опять спросила она.

«Забыл почему, — ответил я. — Мне бы поесть, Хелен. За целый день маковой росинки во рту не было».

Рядом с нею на разрисованном итальянском столике стояла серебряная рамка с фотографией мужчины, которого я не знал. «А это нам нужно?» — спросил я.

«Нет», — удивленно ответила она, взяла фото-

графию, сунула в ящик стола.

Шварц посмотрел на меня и улыбнулся.

— Она ее не выбросила. Не разорвала. Сунула в ящик. Стало быть, в любое время могла снова достать и поставить на столик. Не знаю почему, но этот жест raison d'être[2] привел меня в восхищение. Пятью годами раньше я бы ее не понял и устроил скандал. Теперь она переломила ситуацию, которая грозила стать слишком помпезной. Мы терпим громкие слова в политике, но в чувствах пока нет. К сожалению. Лучше бы наоборот. Французский жест Хелен говорил не о нехватке любви, нет, только о женской осторожности. Однажды я ее разочаровал, зачем же тотчас снова мне доверять? Но я не напрасно жил во Франции, не стал задавать вопросов. До и о чем спрашивать? И откуда у меня право на это? Я рассмеялся. Она несколько опешила. Потом ее лицо просветлело, и она тоже рассмеялась. «Кстати говоря, ты со мной развелась?» — спросил я.

Она покачала головой. «Нет. Но не из-за тебя. А чтобы позлить свое семейство».

---

[2] Примечания: 2

Зд.: рассудочность (*фр.*).

5

— Той ночью я спал лишь несколько часов, — сказал Шварц. — Очень устал, но то и дело просыпался. Ночь напирала снаружи на маленькую комнату, где были мы. Мне чудились шорохи, в секундах полусна я снова бежал — и резко просыпался.

Хелен проснулась только один раз. «Не спится?» — спросила она в темноту.

«Да. Я и не надеялся».

Она включила свет. Тени метнулись в окно. «Нельзя требовать всего сразу, — сказал я. — Над своими снами я не властен. Вино еще осталось?»

«Вполне достаточно. Тут на мою семейку можно положиться. С каких пор ты пьешь вино?»

«С тех пор как живу во Франции».

«Та-ак, — сказала она. — Уже немножко в нем разбираешься?»

«Не очень. Главным образом в красном. Дешевом».

Хелен встала, пошла на кухню. Вернулась с двумя бутылками и штопором. «Наш достославный фюрер изменил старый закон о вине, — сказала

она. — Раньше в натуральные вина не разрешалось добавлять сахар. Теперь можно даже брожение прерывать».

Она посмотрела на мое недоуменное лицо. «Таким манером кислые вина в скверные годы становятся слаще, — объяснила она и засмеялась. — Мошенничество расы господ, чтобы увеличивать экспорт и получать валюту».

Она отдала мне бутылки и штопор. Я откупорил бутылку мозельского. Хелен принесла два тонких бокала. «Где ты так загорела?» — спросил я.

«В марте ездила в горы. Каталась на лыжах».

«Нагишом?»

«Нет. Но загорать можно и лежа нагишом».

«С каких пор ты катаешься на лыжах?»

«Меня научили». Она с вызовом посмотрела на меня.

«Отлично. Говорят, очень полезно для здоровья».

Я наполнил бокал, протянул ей. Вино пахло пряно, было ароматнее, чем бургундские вина. Я не пил его с тех пор, как уехал из Германии.

«Не хочешь узнать, кто меня научил?» — спросила Хелен.

«Нет».

Она изумилась. Раньше-то я бы, наверно, всю

ночь допытывался. Теперь же воспринял это как сущий пустяк. Снова нахлынула невесомая нереальность этого вечера. «Ты изменился», — сказала Хелен. «Сегодня вечером ты дважды повторила, что я не изменился, — заметил я. — И то и другое не имеет значения».

Она держала бокал в руке, но не пила. «Может, мне хочется, чтобы ты не изменился».

Я выпил. «Так будет легче сокрушить меня?»

«А раньше я тебя сокрушала?»

«Не знаю. Вряд ли. Столько времени прошло. Когда вспоминаю, каким я тогда был, то сам понять не могу, почему ты не пыталась».

«Попытки делаешь всегда, разве ты не знаешь?»

«Нет, — сказал я. — Но теперь буду начеку. Хорошее вино. Вероятно, его брожение не прерывали».

«Как и твое?»

«Хелен, ты не только очень волнуешь, ты еще и забавная, а это сочетание крайне редкое и очаровательное».

«Напрасно ты так уверен», — сердито сказала она и села на кровать, по-прежнему с бокалом в руке.

«Я не уверен. Но предельная неуверенность,

если она не ведет к смерти, может привести к совершенно непоколебимой уверенности, — смеясь заметил я. — Слова патетические, но они лишь простой итог шарового бытия».

«А что это — шаровое бытие?»

«Мое. Оно нигде не может задержаться, не вправе закрепиться, должно постоянно быть в движении. Бытие эмигранта. Бытие нищенствующего индийского монаха. Бытие современного человека. Кстати, эмигрантов куда больше, чем все думают. Есть и такие, что никогда не трогались с места».

«Звучит здóрово, — сказала Хелен. — Лучше, чем буржуазное болото».

Я кивнул. «Можно описать это и другими словами, тогда звучит не так здорово. Но сила нашего воображения, слава богу, не очень велика. Иначе было бы намного меньше солдат-добровольцев».

«Всё лучше болота», — сказала Хелен и осушила бокал.

Пока она пила, я рассматривал ее. Какая она молодая, думал я, какая молодая, неопытная, капризно-очаровательная, опасная и опрометчивая. Ничего она не знает. Не знает даже, что буржуазное болото — состояние моральное, а не географическое.

«Ты хочешь туда вернуться?» — спросила она.

«Не думаю, что смог бы. Против моей воли отечество сделало меня гражданином мира. И я должен им остаться. Вернуться назад вообще невозможно».

«В том числе и к человеку?»

«И к человеку тоже, — сказал я. — Земля и та ведет шаровое существование. Солнечная эмигрантка. Вернуться назад невозможно. Или рассоришься».

«Слава богу. — Хелен протянула мне свой бокал. — Тебе никогда не хотелось вернуться?»

«Хотелось, всегда, — ответил я. — Я никогда не следую своим теориям. От этого они вдвойне привлекательны».

Хелен рассмеялась. «Это же все неправда!»

«Конечно. Немножко паутины, чтобы прикрыть другое».

«Что?»

«Нечто бессловесное».

«Которое бывает только по ночам?»

Я не ответил. Спокойно сидел на кровати. Ветер времени утих. Больше не свистел в ушах. Я как бы пересел с самолета на воздушный шар. Еще парил и летел, но шум моторов смолк.

«Как тебя теперь зовут?» — спросила Хелен.

«Йозеф Шварц».

Секунду она размышляла.

«Тогда и я теперь тоже Шварц?»

Я невольно улыбнулся: «Нет, Хелен. Это просто фамилия. Человек, от которого она мне досталась, тоже получил ее, так сказать, в наследство. Какой-то далекий, покойный Йозеф Шварц живет во мне, словно вечный жид, уже в третьем поколении. Чужой, умерший духовный предок».

«Ты его не знаешь?»

«Нет».

«Ты чувствуешь себя по-другому, с тех пор как у тебя другая фамилия?»

«Да, — сказал я. — Потому что с ней соотносится бумага. Паспорт».

«Хоть и фальшивый?»

Я засмеялся. Вопрос пришел из другого мира. Поддельность или подлинность паспорта зависела от полицейского, который его проверял. «Об этом можно бы сочинить философскую притчу, — сказал я. — И начать ее надо с выяснения, что́ есть фамилия. Случайность или установление тождества».

«Фамилия есть фамилия, — вдруг упрямо возразила Хелен. — Я свою защищала. То есть твою. А ты, оказывается, где-то нашел себе другую».

«Мне ее подарили, — сказал я. — И для меня это был самый дорогой подарок на свете. Я ношу ее с радостью. Для меня она означает доброту. Человечность. Если я буду в отчаянии, когда-нибудь, она напомнит мне, что доброта жива. О чем напоминает тебе твоя фамилия? О племени прусских вояк и охотников с мировоззрением лис, волков и павлинов».

«Я говорила не о фамилии моего семейства, — сказала Хелен, покачивая тапкой на кончиках пальцев. — Я ведь ношу и твою. Прежнюю, господин Шварц».

Я откупорил вторую бутылку вина. «Мне рассказывали, что в Индонезии есть обычай время от времени менять имена. Когда человеку надоедает его личность, он ее меняет, берет новое имя и начинает новую жизнь. Хорошая идея!»

«Ты начал новую жизнь?»

«Сегодня», — сказал я.

Она уронила тапку на пол. «И в новую жизнь ничего с собой не берут?»

«Эхо», — сказал я.

«Не воспоминание?»

«Эхо воспоминания, которое уже не причиняет боли и стыда».

«Будто смотришь фильм?» — спросила Хелен.

Я посмотрел на нее. Казалось, еще секунда — и она швырнет бокал мне в голову. Я забрал его у нее, налил вина из второй бутылки, спросил: «А это какое?»

«“Замок Райнхартсхаузен”. Превосходное рейнское вино. Полностью вызревшее. Без прерывания брожения. Осталось по характеру прежним. Не перетолковано как пфальцское».

«Стало быть, не эмигрант?» — сказал я.

«Не хамелеон, меняющий окраску. Не кто-то, бегущий от ответственности».

«Господи, Хелен! Я что же, слышу шум крыльев буржуазной добропорядочности? Разве ты не хотела избежать ее болота?»

«Ты вынуждаешь меня говорить то, чего я вовсе не имею в виду, — сердито сказала она. — О чем мы тут говорим? И зачем? В первую ночь! Почему не целуемся или не ненавидим друг друга?»

«Мы целуемся и ненавидим».

«Это просто слова! Откуда у тебя такая уйма слов? Разве правильно, что мы сидим тут и разглагольствуем?»

«Я не знаю, что правильно».

«Тогда откуда у тебя столько слов? Ты так много говорил за границей, так много общался с людьми?»

«Нет, — сказал я. — Совсем мало. Потому-то слова сейчас и сыплются градом, как яблоки из корзины. Я сам удивлен не меньше тебя».

«Правда?»

«Да, Хелен. Правда. Разве ты не понимаешь, что́ это значит?»

«А проще ты сказать не можешь?»

Я покачал головой.

«Почему?»

«Потому что боюсь утверждений. И боюсь слов, которые что-то утверждают. Ты не поверишь, но так оно и есть. Вдобавок я боюсь безымянного страха, который крадется где-то по городу и о котором я не хочу ни думать, ни говорить, поскольку глупое суеверие во мне считает, что опасности нет, покуда я не приму ее к сведению. Вот почему мы ведем этот странный разговор. Он как бы упраздняет время, словно в разорванном фильме. Все вдруг замирает, так что ничего случиться не может».

«Слишком сложно для меня».

«Для меня тоже. Разве недостаточно, что я здесь, с тобой, что ты по-прежнему жива и что меня пока не схватили?»

«Поэтому ты приехал?»

Я не ответил. Она сидела передо мной как ма-

ленькая, грациозная амазонка, нагая, с бокалом вина в руке, требовательная, не отступающая, хитрая и отважная, и я понял, что раньше ничего о ней не знал. Уму непостижимо, как она выдерживала жизнь со мной, я казался себе человеком, который думал, что обладает хорошенькой овечкой и заботится о ней как о хорошенькой овечке, и неожиданно обнаружил, что это молодая пума, которой совершенно не по нраву голубенькие ошейники и мягкие щетки и которая вполне способна прокусить ласковую руку.

Я ступил на опасную почву. Как вы можете догадаться, случилось то, чего и следовало ожидать в первую ночь: я самым примитивным образом спасовал. Предчувствие меня не обмануло, хотя, возможно, так вышло именно потому, что я этого ждал. Короче говоря, я не смог, однако, поскольку ожидал такого, к счастью, не стал отчаянно повторять попытки, как обычно бывает в подобных случаях. Можно, конечно, сколько угодно хорохориться и твердить, что от этого застрахованы разве только конюхи, а женщины могут сколько угодно притворяться, что все понимают, и утешать бедолагу тягостной материнской лаской, — так или иначе ситуация ужасная, в которой любой пафос оборачивается чудовищной

смехотворностью.

Не услышав от меня банальных оправданий, Хелен от расстройства налетела на меня с упреками. Не могла понять, почему я ее не взял, и обиделась. Я мог бы просто сказать ей правду, но для этого мне недоставало спокойствия. К тому же тут есть две правды — одна, при которой выкладываешь все как на духу, и вторая, стратегическая, когда не выкладываешь ничего. За пять лет я усвоил: выложив все как на духу, не стоит удивляться, что в тебя стреляют.

«Люди в моем положении становятся суеверны, — сказал я Хелен. — Они думают, что если напрямик скажут или сделают что-нибудь, то получат обратный результат. Поэтому они осторожны. Со словами тоже».

«Какая бессмыслица!»

Я рассмеялся. «От веры в смысл я давно отказался. Иначе бы горечи во мне было не меньше, чем в диком лимоне».

«Надеюсь, твоя суеверность заходит не слишком далеко».

«Лишь настолько, Хелен, — очень спокойно сказал я, — что если скажу тебе, как безмерно тебя люблю, то буду ждать, что минутой позже в дверь постучит гестапо».

На миг она замерла, как зверек, услыхавший непривычный шорох. Потом медленно повернулась ко мне лицом. Поразительно, как оно изменилось. «Это и есть причина?» — тихо спросила она.

«Лишь одна из… — ответил я. — Ну как ты можешь ожидать, что в моих мыслях царит порядок, если меня вот только что принесло из безотрадного ада в опасный рай?»

«Иной раз я думала о том, как все будет, если ты вернешься, — сказала она, помолчав. — Все было совершенно по-другому».

Я остерегся спрашивать, как по-другому. В любви всегда задают слишком много вопросов, а когда возникает желание действительно узнать ответы, она быстро проходит. «Все всегда по-другому, — сказал я, — слава богу!»

Она улыбнулась. «В сущности, по-другому никогда не бывает, Йозеф. Так только с виду кажется. У нас не осталось вина?»

Она обошла вокруг кровати, как танцовщица, поставила бокал на пол, потянулась. Загорелая от чужого солнца и беспечная в своей наготе, как женщина, которая не только знает, что желанна, но и много раз это слышала.

«Когда мне надо уйти?» — спросил я.

«Прислуга завтра не придет».

«Послезавтра?»

Хелен кивнула. «Все было просто. Сегодня суббота. Я отпустила ее на выходные. Она вернется в понедельник к полудню. У нее есть любовник. Полицейский, женатый, с двумя детьми. — Полуприкрыв глаза, она посмотрела на меня: — Она обрадовалась».

С улицы донеслись мерные шаги и пение. «Что это?» — спросил я.

«Солдаты или гитлерюгенд. В Германии все время где-нибудь да маршируют».

Я встал и сквозь щелку в шторах выглянул наружу. Отряд гитлерюгенда. «Странно, в кого ж ты такая уродилась?» — сказал я.

«Наверно, в бабушку-француженку, — объяснила Хелен. — Есть у нас одна. О ней помалкивают, будто она еврейка».

Она зевнула, снова потянулась. Вдруг совсем утихла, словно мы уже не одну неделю пробыли вместе и извне опасность тоже более не грозит. До сих пор мы оба старались не говорить об этом. Хелен тоже пока не расспрашивала о моей жизни в эмиграции. Я не знал, что она видит меня насквозь и уже успела принять решение.

«Не хочешь еще поспать?» — спросила она.

Был час ночи. Я лег. «Можно не гасить свет? — спросил я. — Я так лучше сплю. Не привык к немецким потемкам».

Она быстро взглянула на меня. «Пусть все лампы горят, милый, если хочешь».

Мы лежали совсем рядом. Я-то почти запамятовал, что раньше мы каждую ночь спали в одной постели. Воспоминание об этом казалось блеклой тенью, без красок. Хелен была рядом, но совершенно по-другому, в какой-то странно чуждой близости, я узнавал в ней лишь безымянное — ее дыхание, запах волос, но в первую очередь запах кожи, так надолго утраченный и еще не вполне вернувшийся, но все же вернувшийся и уже куда более умный, чем мозг. Утешение кожи любимого человека! Насколько она умнее и насколько выразительнее рта с его ложью! Той ночью я долго лежал без сна, держал Хелен в объятиях, видел свет и полуосвещенную комнату, знакомую и незнакомую, и в конце концов перестал задавать себе вопросы. Хелен еще раз проснулась. «У тебя во Франции было много женщин?» — пробормотала она, не открывая глаз.

«Не больше, чем необходимо, — ответил я. — И с ними было не так, как с тобой».

Она вздохнула, хотела отвернуться, но не

успела, сон вновь сморил ее. Она опустилась на подушку. Медленно сон пришел и ко мне, без сновидений, тишина и дыхание Хелен наполняли меня, а под утро, когда я проснулся, нас ничто больше не разделяло, я взял ее, и она охотно подчинилась, и мы снова уснули, погрузились в сон, как в облако, в котором все сияло и не было темноты.

6

— Утром я позвонил в мюнстерскую гостиницу, где оставил чемодан, объяснил, что в Оснабрюке опоздал на поезд и вернусь ночью, и попросил оставить номер за мной. Это была предосторожность, я не хотел, чтобы на меня донесли за неуплату и чтобы меня караулила полиция. Равнодушный голос ответил, что они так и сделают. Я спросил, нет ли для меня почты. Нет, почты не было.

Я положил трубку. За спиной у меня стояла Хелен. «Почта? — сказала она. — От кого ты ждешь письмо?»

«Ни от кого. Сказал просто так, чтобы не вызывать особых подозрений. Людей, которые ожидают писем, как ни странно, обычно не сразу причисляют к мошенникам».

«А ты мошенник?»

«К сожалению. Против воли. Но не без удовольствия».

Она рассмеялась. «Хочешь сегодня вечером уехать в Мюнстер?»

«Я ведь не могу задержаться дольше. Завтра

придет твоя прислуга. И тут, в городе, я пойти в гостиницу не рискну. Усы — маскировка недостаточная».

«А у Мартенса ты не можешь остаться?»

«Он предложил мне для ночлега свой врачебный кабинет, но днем ему негде меня устроить. Лучше уехать в Мюнстер, Хелен. Там меня не так легко узнать на улице, как здесь. Да и ехать всего лишь час».

«Как долго ты намерен оставаться в Мюнстере?»

«Это я смогу выяснить только там. Со временем вырабатываешь чутье к опасности».

«Ты чуешь здесь опасность?»

«Да, — сказал я. — С сегодняшнего утра. Вчера не чуял».

Нахмурив брови, она смотрела на меня: «На улицу тебе, конечно, нельзя».

«Не раньше, чем стемнеет. Да и тогда только чтобы до вокзала добраться».

Хелен молчала. «Все будет хорошо, — сказал я. — Не думай об этом. Я привык жить минутой, не забывая думать о следующем дне».

«Вот как? — сказала Хелен. — Весьма практично!» В ее голосе опять звучала легкая досада, как накануне вечером.

«Не только практично — необходимо, — ответил я. — Но тем не менее я иной раз что-нибудь да забываю. Надо было прихватить из Мюнстера бритвенный станок. Сегодня вечером буду похож на бродягу. Руководство для эмигрантов предписывает на всякий случай этого избегать».

«В ванной есть бритвенный станок, — сказала Хелен. — Тот, который ты оставил пять лет назад, когда уходил. И белье есть, и твои старые костюмы висят слева в шкафу».

Все это она сказала так, будто пять лет назад я ушел от нее с другой женщиной и теперь вернулся один, чтобы забрать свои вещи и опять уйти. Я не стал вносить ясность, ведь это ничего не даст. Она только удивленно посмотрит на меня и скажет, что ничего такого не думала, но раз *я* так думаю… и тогда мне придется перейти в бестолковую оборону. Странно, до чего же кривые дороги мы зачастую выбираем, лишь бы не показать, что́ чувствуем!

Я пошел в ванную. При виде своих старых костюмов отметил только, до какой степени похудел. Обрадовался, что нашлось белье, и решил захватить с собой достаточное количество. Никаких сантиментов я не испытывал. Принятое три года назад решение считать эмиграцию не бедой,

а чем-то вроде холодной войны, необходимой для моего развития, по крайней мере, принесло кой-какие плоды.

День прошел в смешанных чувствах. Необходимость отъезда тревожила нас обоих, но у Хелен, не в пример мне, это не вошло в привычку. Она воспринимала это обстоятельство чуть ли не как личное оскорбление. Я был подготовлен жизненным опытом и временем, минувшим после отъезда из Франции; Хелен, однако, еще не успела свыкнуться с моим приездом, как впереди уже замаячил отъезд. Ее гордости не хватило времени, чтобы смириться, а уже повторялась та же ситуация. Мало того, добавилась реакция на вчерашний вечер — волна эмоций схлынула, и давние утонувшие обломки вдруг снова возникли перед глазами и казались больше, чем на самом деле. Мы держались друг с другом осторожно, отвыкли один от другого. Я бы с удовольствием побыл часок в одиночестве, чтобы создать некоторую дистанцию, но при мысли, что речь не о часе, а о двенадцатой части того времени, какое я еще мог провести с Хелен, это казалось мне совершенно невозможным. Раньше, в спокойные годы, я порой забавы ради размышлял о том, что бы стал делать, если бы знал, что жить

мне осталось всего месяц. К четкому выводу я ни разу прийти не смог. Все, что, как я полагал, надо сделать, в некой странной полярности было одновременно и тем, чего ни под каким видом делать нельзя, — вот так и сейчас. Вместо того чтобы заключить день в объятия, целиком открыться ему навстречу и всеми чувствами принять в себя Хелен, я ходил из угла в угол с горячим желанием именно так и поступить, но притом с большой осторожностью, будто был из стекла, и с Хелен, видимо, обстояло точно так же. Мы оба страдали и оба топорщились колючками и углами, лишь в сумерках страх потерять друг друга подступил настолько близко, что мы вдруг опять признали один другого.

В семь часов раздался звонок в дверь. Я вздрогнул. Для меня звонок означал полицию. «Кто это может быть?» — прошептал я.

«Давай посидим тихонько, подождем, — сказала Хелен. — Наверно, кто-то из знакомых. Если я не отвечу, он уйдет».

Звонок повторился. Потом кто-то энергично застучал в дверь. «Иди в спальню», — прошептала Хелен.

«Кто это?»

«Не знаю. Иди в спальню. Я его сплавлю. Лучше

не привлекать внимания соседей».

Она подтолкнула меня к двери. Я быстро огляделся, не осталось ли в комнате чего-нибудь моего. Потом прошел в спальню. Услышал, как Хелен спросила: «Кто там?» и как ей ответил мужской голос. Потом Хелен сказала: «Ты? Что случилось?» Я закрыл дверь. В квартире был второй выход, через кухню, но до него не добраться, меня наверняка увидят. Оставалось только одно — спрятаться в просторном стенном шкафу, где висели платья Хелен. Собственно, это был не шкаф, а большая ниша, снабженная дверцей. Воздуху там вполне достаточно.

Я слышал, как посетитель прошел вместе с Хелен в гостиную. Я узнал его голос. Брат Хелен, Георг, который упрятал меня в концлагерь.

Я бросил взгляд на туалетный столик Хелен. Единственное, что можно использовать как оружие, — нож для бумаг, с нефритовой рукояткой, больше ничего нет. Не раздумывая, я сунул нож в карман и вернулся в шкаф. Само собой, если он меня обнаружит, я буду сопротивляться, другого выхода у меня нет, только убить его и попробовать скрыться.

«Телефон? — послышался голос Хелен. — Я не слыхала. Спала. Что случилось-то?»

В большой опасности всегда бывает миг, когда ты весь настолько напряжен, что, кажется, достаточно искры — и вспыхнешь, как трут. В этот миг становишься почти ясновидцем, так быстро думаешь сразу обо всем. Прежде чем Георг ответил, я уже смекнул, что про меня он ничего не знает.

«Я звонил несколько раз, — сказал он. — Никто не отвечал. Прислуга тоже. Мы подумали, что-то случилось. Почему ты не открывала?»

«Спала, — спокойно ответила Хелен. — Потому и телефон отключила. У меня болит голова, до сих пор. Ты меня разбудил».

«Болит голова?»

«Да. И сейчас сильнее прежнего. Я приняла две таблетки. И теперь должна спать, тогда все пройдет».

«Снотворное?»

«Таблетки от головной боли. Уходи, Георг. Мне надо поспать».

«Таблетки — это чепуха, — сказал Георг. — Одевайся, пойдем гулять. На улице чудесно. Свежий воздух лучше любых таблеток».

«Я их уже приняла и должна поспать. Не хочу я слоняться по улице».

Разговор продолжался еще некоторое время. Георг хотел зайти за Хелен попозже, но она не

согласилась. Он спросил, есть ли у нее продукты. Да, есть, вполне достаточно. Где прислуга? Она отпустила ее, вечером та вернется и приготовит ужин.

«Значит, все в порядке?» — спросил Георг.

«А что должно быть не в порядке?»

«Да это я так! В голову часто приходят никчемные мысли. В конце концов…»

«Что — в конце концов?» — резко спросила Хелен.

«Ну, в ту пору…»

«Что — в ту пору?»

«Ты права, — сказал Георг. — К чему говорить об этом? Раз все в порядке, то, стало быть, в порядке. Я в конце концов твой брат, ну и иной раз…»

«Да».

«Что?»

«Ты мой брат».

«Хорошо бы, ты уразумела это как следует. Я желаю тебе добра!»

«Да-да, — нетерпеливо обронила Хелен. — Ты мне уже не раз объяснял».

«Что с тобой сегодня? Обычно ты другая».

«Да?»

«Благоразумнее, я имею в виду. Если опять начнется старая песня…»

«Ничего не начнется. У меня болит голова, вот и все! И я терпеть не могу, когда меня контролируют».

«Никто тебя не контролирует! Я просто беспокоюсь о тебе».

«Не беспокойся. Со мной все хорошо».

«Ты всегда так говоришь. В ту пору…»

«Об этом мы говорить не будем», — отрезала Хелен.

«Конечно! Я уж точно не буду. Ты была у врача?»

«Да», — помедлив, сказала Хелен.

«Что он говорит?»

«Ничего».

«Он наверняка что-то говорил».

«Сказал, что мне надо отдыхать, — раздраженно ответила Хелен. — Спать, когда я устаю и у меня болит голова, не вступать в споры и не спрашивать, согласуется ли это с моими обязанностями соотечественницы и гражданки достославного Тысячелетнего рейха.

«Он так говорил?»

«Нет, этого он не говорил, — громко и быстро сказала Хелен. — Это я сама добавила! Он только сказал, чтобы я без нужды не волновалась! То есть никаких преступлений он не совершал и в

концлагерь его отправлять незачем. Он честный сторонник правительства. Достаточно?»

Георг что-то пробормотал. Я предположил, что он собирается уходить, а поскольку усвоил, что это момент рискованный, так как может случиться непредвиденное, то плотнее закрыл дверцу шкафа, оставил лишь маленькую щелочку. И сразу же услышал, как он вошел в спальню. Его тень скользнула по узенькой полоске света, он прошел в ванную. Мне показалось, Хелен тоже вошла, но я ее не видел. Я совсем закрыл шкаф и стоял теперь в полной темноте среди платьев Хелен, крепко сжимая нож для бумаги.

Я понимал, что Георг меня не обнаружил и что из ванной он, наверно, вернется в гостиную и попрощается, но тем не менее горло у меня перехватило, и одновременно я облился потом. Страх перед неизвестным совсем не то, что страх перед чем-то знакомым. Неизвестное может показаться опасным, но по причине его неопределенности страх можно обуздать дисциплиной и даже уловками. А вот когда знаешь, что́ предстоит, от дисциплины и психологических кульбитов толку мало. Первый страх я знал еще до того, как загремел в концлагерь; второй испытывал сейчас, уже зная, что ждет меня в лагере, если я

опять туда попаду.

Странно, с тех пор как пересек границу, я вообще не отдавал себе в этом отчета, да и не хотел. Это остановило бы меня, а что-то во мне не желало останавливаться. Вдобавок наша память фальшивит, чтобы дать нам возможность выжить. Пытается смягчить невыносимое патиной забвения. Вам это знакомо?

— Да, знакомо, — сказал я. — Но это не забвение, а что-то вроде дремоты. Достаточно толчка, и все опять оживает.

Шварц кивнул:

— Я недвижно стоял в темной, надушенной тесноте стенной ниши, среди одежды, стиснутый ею будто мягкими крыльями огромных летучих мышей, и едва дышал, чтобы не зашуршал шелк или я не чихнул и не закашлялся. Впервые я полностью осознал, что́ сделал. Страх черным газом поднимался от пола, и я боялся задохнуться. Со мной самим в лагере не случилось самого худшего, обращались со мной так же скверно, как с другими, но выпустили, и, быть может, именно поэтому мои воспоминания замутились. Однако теперь перед глазами вдруг снова встало то, что я видел, то, что произошло с другими, о чем я слышал и знаки чего видел… и я уже не понимал

безумия и растерянности, побудивших меня покинуть благословенные края, где меня карали за мое существование только тюрьмой и высылкой. Теперь они казались мне гаванями гуманности.

Я слышал Георга в ванной. Стена была тонкая, а Георг, истинный представитель расы господ, вел себя отнюдь не тихо. Он с грохотом откинул крышку унитаза и справил нужду. Поневоле я слышал, как он мочится, и позднее это представлялось мне верхом позора, хотя и показало, что он не тревожился и ни о чем не подозревал. Мне вспомнились случаи краж и грабежей, когда преступники перед бегством загаживают квартиры, отчасти назло, а отчасти от стыда, ведь позыв к этому прежде был признаком их собственного страха.

Я слышал, как Георг спустил воду, бодро-весело покинул ванную и прошагал через спальню. Потом приглушенно стукнула входная дверь, шкаф распахнулся, и на фоне света возник темный силуэт Хелен. «Ушел», — прошептала она.

Я вышел из шкафа, чувствуя себя едва ли не Ахиллом, застигнутым в женском платье. Перепад от страха к смехотворности и смущению был настолько скорым, что вся эта троица перемешалась и присутствовала одновременно. Я

привык, что они быстро приходят и уходят, но есть разница, означает ли внезапная хватка за горло высылку или смерть.

«Ты должен уехать», — прошептала Хелен.

Я посмотрел на нее. Не знаю, почему я ожидал увидеть на ее лице что-то вроде презрения, наверно, все дело в том, что, едва только опасность миновала, я сам, как мужчина, устыдился, чего никогда бы не случилось, будь на месте Хелен кто-то другой.

На ее лице читался один лишь страх. «Ты должен уехать, — повторила она. — Твой приезд сюда — чистое безумие!»

Секундой раньше я подумал о том же, но теперь покачал головой. «Не сию минуту! — сказал я. — Часом позже. Возможно, он еще торчит на улице. Он может вернуться?»

«Не думаю. Он ни о чем не догадывается».

Хелен прошла в гостиную, выключила лампу, раздвинула шторы и выглянула наружу. Свет из спальни золотым ромбом падал через открытую дверь на пол. Она стояла за ним, наклонясь вперед, напряженная, будто высматривала дичь. «Идти на вокзал пешком нельзя, — шепнула она. — Тебя могут узнать. Но уехать необходимо! Я возьму у Эллы машину и отвезу тебя в Мюн-

стер. Какие же мы дураки! Ты никак не можешь оставаться здесь!»

Она стояла у окна, отделенная от меня всего-навсего пространством комнаты, но уже далекая, и я ощутил резкую боль. Сама она, кажется, только сейчас впервые осознала, что мы опять должны расстаться. Все отговорки, призраками маячившие в течение дня, вдруг исчезли. Хелен увидела опасность, увидела собственными глазами, и все прочее стерлось. Она мгновенно стала лишь страхом и любовью, а секундой позже — уже разлукой и утратой. Я увидел это, как увидела и она сама, отчетливо и беспощадно, наконец-то без туманной пелены и без осторожности, и нестерпимое понимание странным образом тотчас обернулось столь же нестерпимым желанием. Я хотел удержать ее, должен был удержать, схватил ее, хотел овладеть ею, еще раз, целиком, уже примирившись с тем, что должен ее потерять, тогда как она еще строила планы, надеялась, еще не сдалась, сопротивлялась и шептала: «Не сейчас! Я должна позвонить Элле! Не сейчас! Мы ведь должны…»

Ничего мы не должны, думал я. У меня еще час, а потом мир рухнет. Почему я раньше не ощущал этого так сильно? Ощущал, но почему не разбил стеклянную стену между мною и моим чувством?

Если мое возвращение было бессмысленно, то ведь это еще бессмысленнее! Я должен увезти с собой частицу Хелен в серую пустоту, куда вернусь, если повезет, должен увезти с собой нечто большее, чем просто воспоминание об осторожности, о кружении друг возле друга и последнем единении меж снами, я должен овладеть Хелен, осознанно, овладеть всеми чувствами, ее мозгом, ее глазами, ее мыслями, целиком, а не только как зверь меж ночью и утром.

Она сопротивлялась. Шептала, что может вернуться Георг, и я не знаю, вправду ли она так думала. Сам я слишком часто бывал в опасности и привык забывать про нее в ту же секунду, как она оставалась позади… сейчас в этой сумрачной комнате с запахом духов Хелен, ее платьев и постели я желал только одного: обладать ею всем моим существом, всем, на что я способен, и единственное, что причиняло боль и пронизывало банальную, тупую муку утраты, была неспособность обладать ею полнее и глубже, чем позволяла природа. Мне хотелось покровом раскинуться над нею, хотелось иметь тысячи губ и рук, сделаться идеальным футляром, повторяющим ее форму, чтобы чувствовать ее повсюду, без каких-либо зазоров, прильнуть кожей к коже,

испытывая, несмотря ни на что, первозданную боль, что можно лишь прижаться кожей к коже, а не излиться кровью в кровь, что это не единение, а только близость.

7

Я слушал Шварца, не перебивая. Хотя обращался он ко мне, я понимал, что был для него всего лишь стеной, от которой порою отбивалось эхо. Я и сам смотрел на себя так же, иначе не смог бы слушать его без смущения, и был уверен, что и он бы иначе не смог рассказывать о том, что хотел еще раз воскресить, прежде чем волей-неволей похоронит в беззвучно сыплющемся песке воспоминаний. Я был для него человеком посторонним, путь которого на одну ночь пересекся с его собственным и перед которым ему нет нужды смущаться. Закутанный в анонимный плащ далекого мертвого имени — Шварц, — он встретился со мной и, если сбросит этот плащ, вместе с ним сбросит и свою личность и вновь исчезнет в анонимной толпе, что бредет к черным вратам на последней границе, где документы не нужны и никого никогда не высылают и не отправляют назад.

Официант сообщил нам, что, кроме английских дипломатов, прибыл еще и германский. И показал его нам. Посланец Гитлера сидел пятью

столиками дальше в компании троих людей, в том числе двух женщин, с виду крепких и здоровых, одетых в шелковые платья двух оттенков синего, друг с другом не сочетавшихся. Мужчина, на которого указал официант, сидел к нам спиной, что я счел вполне приемлемым и утешительным.

— Я думал, вам будет интересно, — сказал официант, — вы ведь тоже говорите по-немецки.

Мы со Шварцем невольно обменялись эмигрантским взглядом — легкое поднятие век, а затем равнодушный уход в сторону. Казалось, ничто нас не интересовало меньше. Эмигрантский взгляд не такой, как германский при Гитлере — осторожная оглядка по сторонам, чтобы затем что-то шепнуть, — но тот и другой принадлежат к культуре нашего столетия, как и вынужденное переселение народов, начиная от несчетных отдельных Шварцев в Германии до перемещения целых провинций в России. Через сто лет, когда горестные вопли утихнут, какой-нибудь находчивый историк торжественно объявит все это фактом, который способствовал развитию культуры, обогащал ее и распространял.

Шварц безучастно взглянул на официанта.

— Мы знаем, кто он. Принесите нам еще вина…

Хелен, — продолжил он так же спокойно, — пошла к подруге за автомобилем. Я остался один в квартире, стал ждать. Был вечер, окна стояли настежь. Я выключил весь свет, чтобы никто меня в квартире не видел. Если позвонят в дверь, я не отвечу. Если придет Георг, в крайнем случае смогу сбежать через черный ход.

Полчаса я просидел поблизости от окна, слушая уличные шумы. Через некоторое время меня начало беззвучно охватывать огромное чувство утраты. В нем не было боли, скорее оно походило на сумрак, расползающийся вокруг, омрачающий и опустошающий все, в конце концов скрывающий даже горизонт. Призрачные весы уравновешивали пустое прошлое и пустое будущее, а посредине стояла Хелен, и призрачное коромысло весов лежало у нее на плечах, и она была уже потеряна. Мне казалось, будто я нахожусь посредине своей жизни, следующий шаг нарушит баланс весов, они медленно опустятся в сторону будущего, станут все больше и больше наполняться серостью и никогда уже не вернутся в равновесие.

Шум подъехавшего автомобиля разбудил меня. В свете уличного фонаря я увидел, как Хелен вышла из машины и исчезла в парадном. Я прошел

через темную безжизненную квартиру, услышал, как в замке повернулся ключ. Она быстро вошла, сказала: «Можно ехать. Тебе обязательно надо в Мюнстер?»

«Я оставил там чемодан. И зарегистрировался под именем Шварца. Куда мне еще ехать?»

«Оплати гостиницу и пойди в другую».

«Где?»

«Действительно, где? — Хелен задумалась, потом наконец сказала: — В Мюнстере. Ты прав. Где же еще? Это ближе всего».

Кой-какие вещи, которые могли пригодиться, я заранее сложил в чемодан. Мы решили, что в машину я сяду не возле дома, а подальше, на Гитлер-плац. Чемодан привезет Хелен.

Никем не замеченный, я выбрался на улицу. Теплый ветерок дул в лицо. Листва деревьев шелестела во мраке. Хелен подобрала меня на площади. «Залезай, — шепнула она. — Быстрее!»

Машина была кабриолетом, верх Хелен опустила. Лицо ее освещал отблеск приборной доски. Глаза блестели. «Мне надо ехать осторожно, — сказала она. — Авария и полиция — нам только этого недоставало!»

Я не ответил. В эмиграции о подобных вещах не говорили, чтоб не накликать беду. Хелен

рассмеялась и поехала вдоль валов. Она кипела прямо-таки лихорадочной энергией, словно все это — приключение; уворачиваясь от других автомобилей или обгоняя их, она говорила сама с собой и с машиной. Когда поблизости от регулировщика приходилось тормозить, бормотала какие-то заклинания, а когда ее останавливал красный свет, торопила светофор: «Ну! Давай! Включай зеленый!»

Я не знал, как ее понимать. Для меня это был наш последний час. Я и не догадывался, на что она успела решиться.

Город остался позади, и Хелен немного успокоилась.

«Когда ты собираешься уехать из Мюнстера?» — спросила она.

Я не знал, потому что никакой цели у меня не было. Знал только, что задерживаться надолго уже нельзя. Судьба дает человеку лишь известную иллюзию свободы, потом остерегает и наносит удар. Порой чуешь, когда приходит срок. Я почуял. И сказал: «Завтра».

Она помолчала. Потом спросила: «И каким образом?»

Об этом я думал, пока сидел один в темной гостиной. Попытка сесть на поезд и просто предъ-

явить на границе паспорт казалась мне слишком рискованной. У меня могут потребовать другие документы, разрешение на выезд, квитанцию об уплате налога на проживание вне рейха, отметку в паспорте, а я ничего такого не имел. «Так же, как приехал, — ответил я. — Через Австрию. И через Рейн в Швейцарию. Ночью. — Я повернулся к Хелен. — Давай не будем говорить об этом. Или как можно меньше».

Она кивнула. «Я захватила деньги. Они тебе пригодятся. Когда тайком пойдешь через границу, сможешь взять с собой. В Швейцарии их можно обменять?»

«Да. Но разве тебе самой они не нужны?»

«Я их взять с собой не могу. Из-за пограничного контроля. Нам разрешается иметь при себе лишь несколько марок».

Я воззрился на нее. О чем она? Не иначе как оговорилась. «Сколько там?» — спросил я.

Хелен быстро взглянула на меня. «Не так мало, как ты думаешь. Я давно их откладывала. Они вон там, в сумке».

Она показала на маленькую кожаную сумку. «Большей частью сотенные купюры. И пачечка двадцаток, для Германии, чтобы тебе не менять крупную купюру. Ты их не считай. Просто возь-

ми. Это же твои деньги».

«Разве партия не конфисковала мой счет?»

«Да, но не сразу. Я успела снять эти деньги. Кое-кто в банке мне помог. Я хотела сохранить их и при случае переслать тебе, но не знала, где ты».

«Я не писал тебе, потому что думал, за тобой следят. Не хотел, чтобы и тебя отправили в лагерь».

«Не только поэтому», — спокойно проговорила Хелен.

«Да, пожалуй, не только».

Мы ехали по деревне — белые вестфальские домики с соломенными крышами и черными балками. Повсюду самоуверенно расхаживали молодые парни в форме. Из пивной гремела «Песня о Хорсте Весселе».

«Будет война, — неожиданно сказала Хелен. — Ты поэтому вернулся?»

«Откуда тебе известно, что будет война?»

«От Георга. Ты поэтому вернулся?»

Я не знал, почему она допытывается.

Неужели я вновь спасаюсь бегством?

«Да, — ответил я. — И поэтому тоже, Хелен».

«Хотел забрать меня с собой?»

Я уставился на нее. «Господи, Хелен, — наконец сказал я. — Не надо так говорить об этом. Ты понятия не имеешь, каково там. Это не приключение

и станет вовсе немыслимо, если начнется война. Всех немцев засадят в тюрьму».

У железнодорожного переезда нам пришлось остановиться. Возле домишка смотрителя цвели в садике георгины и розы. Шлагбаумы звенели на ветру, будто арфы. Подъехали и другие машины — сперва маленький «опель» с четырьмя серьезными толстяками, за ним открытая зеленая двухместная машина со старухой, потом беззвучно подкатил черный, точно катафалк, лимузин-«мерседес». Шофер в черном эсэсовском мундире сидел за рулем, а в салоне — двое эсэсовских офицеров с очень бледными лицами. «Мерседес» стал вплотную рядом с нами, я мог бы дотянуться до него рукой. Ожидание затягивалось. Хелен молча сидела подле меня. Сверкающий хромом «мерседес» продвинулся еще дальше вперед, почти касаясь радиатором шлагбаума. В самом деле похож на катафалк, в котором везут двух покойников. Мы только что говорили о войне, и здесь, рядом с нами, как бы возник ее символ: черные мундиры, мертвенные лица, серебряные эмблемы с мертвыми головами, черный автомобиль и тишина, которая пахла уже не розами, а горечью вечнозеленого барвинка и тленом.

Поезд загромыхал мимо, как сама жизнь. Скорый, со спальными купе и ярко освещенным вагоном-рестораном со столиками под белыми скатертями. Когда шлагбаумы поднялись, «мерседес» первым рванул вперед, во мрак, как темная торпеда, призрачно обесцветившая весь пейзаж, будто деревья уже стали черными скелетами.

«Я еду с тобой», — прошептала Хелен.

«Что? Что ты говоришь?»

«Почему нет?»

Она остановила машину. Тишина обрушилась на нас беззвучным ударом, а затем мы услышали шорохи ночи. «Почему нет? — вдруг очень взволнованно повторила Хелен. — Ты хочешь снова оставить меня здесь?»

В синем отсвете приборной доски ее лицо было таким же бледным, как у тех офицеров, — словно и она уже была отмечена печатью смерти, бродившей в июньской ночи. В этот миг я понял, вот он, мой самый глубинный страх: что между нами станет война и что, когда она отбеснуется, нам никогда не отыскать друг друга, ведь даже при величайшей самонадеянности нельзя уповать на такое личное счастье после землетрясения, которое разрушит все.

«Если ты приехал не за мной, то, вообще при-

ехав сюда, совершил преступление! Неужели не ясно?» — сказала Хелен, дрожа от гнева.

«Ясно», — ответил я.

«Тогда почему ты увиливаешь?»

«Я не увиливаю. Но ты не понимаешь, что это значит».

«А ты в точности знаешь? Почему же тогда приехал? Не лги! Чтобы еще раз распрощаться?»

«Нет».

«Тогда почему? Чтобы остаться здесь и покончить с собой?»

Я покачал головой. Понимал, что есть лишь один ответ, какой она поймет, лишь один, какой я могу сейчас ей дать, даже если этого не произойдет. Обязан дать. «Чтобы забрать тебя с собой, — сказал я. — Неужели ты до сих пор не поняла?»

Ее лицо изменилось. Гнев исчез. Оно стало очень красивым. «Поняла, — пробормотала она. — Но ты должен сказать мне. Неужели еще не понял?»

Я собрался с духом. «Мне хочется сказать это сто раз, Хелен, и повторять каждую минуту… но в основном я говорю так, когда вынужден объяснять, что это невозможно».

«Не невозможно. У меня есть паспорт».

Секунду я молчал. Это слово молнией пробило сумбурные тучи моих размышлений. «У тебя есть паспорт? — повторил я. — Заграничный?»

Хелен открыла сумку, достала паспорт. Она не просто имела его, он был при ней. Я рассматривал паспорт, словно священный Грааль. Действительный паспорт и был не чем иным — декларацией и правом. «С каких пор?» — спросил я.

«Уже два года, — ответила она. — Он действует еще три года. Я трижды им пользовалась, один раз для поездки в Австрию, когда она еще была независимой, и дважды для поездок в Швейцарию».

Я перелистал странички. Мне надо было собраться с мыслями. Передо мной вдруг встала реальность. Паспорт похрустывал в моей руке. Уже не исключалось, что Хелен может покинуть Германию. Я думал, это возможно, только если она сбежит и перейдет границу нелегально, как я. «Просто, да?» — сказала Хелен, наблюдая за мной.

Я кивнул, как дурак. «Стало быть, ты можешь сесть на поезд и просто уехать, — ответил я, опять глядя на паспорт. Это мне даже в голову не приходило. — Но у тебя нет французской визы».

«Я могу поехать в Цюрих и там получить

французскую визу. Для Швейцарии мне виза не требуется».

«Что правда, то правда. — Я не сводил с нее глаз. — А твоя семья? Они позволят тебе уехать?»

«Я не стану их спрашивать. И ничего им не скажу. Сообщу, что мне надо в Цюрих к врачу. Я и раньше туда ездила».

«Ты разве больна?»

«Нет, конечно, — ответила Хелен. — Это был предлог, чтобы получить заграничный паспорт. Чтобы выехать отсюда. Я задыхалась».

Я вспомнил, что Георг спросил, ходила ли она к врачу, и повторил: «Ты правда не больна?»

«Вздор. Но моя семейка думает, что больна. Я им внушила, чтоб не приставали. И чтобы иметь возможность выехать. Мартенс мне помог. Нужно время, чтобы убедить настоящего немца, что в Швейцарии могут быть специалисты, которые знают больше, нежели светила в Берлине. — Хелен неожиданно засмеялась. — Не нервничай! Речь идет не о жизни и смерти и не о тайном побеге. Завтра я просто на несколько дней уеду в Цюрих на обследование, как уже бывало раньше. Может быть, повидаю тебя, если ты будешь там. Так звучит лучше?»

«Да, — сказал я. — Но давай поедем дальше.

Меня до сих пор словно кунают головой то в кипяток, то в ледяную воду, и я не чувствую разницы. Почему я никогда об этом не думал? Все вдруг стало так просто, что я боюсь, как бы из лесу сию минуту не вынырнула бригада СС».

«Все кажется простым, когда ты в отчаянии, дорогой мой, — очень мягко сказала Хелен. — Странная компенсация! Так всегда бывает?»

«Надеюсь, нам вообще не понадобится думать об этом».

Машина съехала с пыльного проселка на шоссе. «Я даже готова жить так всегда», — сказала Хелен без малейшего признака отчаяния.

Она пошла со мной в гостиницу. Поразительно, как быстро она освоилась с моей ситуацией. «Я зайду с тобой в холл, — объявила она. — Одинокий мужчина выглядит подозрительнее, чем мужчина с женщиной».

«Ты быстро учишься».

Она покачала головой: «Это я поняла еще до твоего приезда. В годы доносов. Национальные подъемы похожи на камни, которые поднимают с земли, — из-под них тотчас выползает всякая нечисть. И наконец-то находит высокие слова, маскирующие ее вульгарность».

Гостиничный служащий дал мне ключ, и я

поднялся в свой номер. Хелен осталась внизу.

Чемодан стоял на подставке у двери. Я огляделся в непритязательной комнате. Такая же, как многие, где мне довелось обитать. Попытался вспомнить, как приехал сюда, но воспоминание успело стереться. Я осознал, что уже не стою на берегу, не прячусь и не гляжу на реку — уже плыву на какой-то доске.

Принесенный чемодан я поставил рядом с первым, купленным раньше. Потом спустился к Хелен.

«Сколько у тебя времени?» — спросил я.

«Сегодня ночью я должна вернуть автомобиль».

Я смотрел на нее. И так ее желал, что секунду-другую не мог произнести ни слова. Смотрел на коричневые и зеленые кресла в холле, на стойку портье, на ярко освещенный стол и множество ячеек для писем на заднем плане, прекрасно понимая, что здесь повести Хелен в номер невозможно. «Мы можем вместе поужинать, — сказал я. — Давай сделаем вид, будто завтра утром увидимся снова».

«Не завтра, — возразила Хелен. — Послезавтра».

Наверно, послезавтра что-то для нее значило;

для меня оно было по-прежнему все равно что «никогда» или сомнительный шанс в лотерее с немногими выигрышами и несчетными пустышками. Я пережил слишком много послезавтра, и все они были не такими, как я надеялся.

«Послезавтра, — сказал я. — Послезавтра или послепослезавтра. Смотря по погоде. Сегодня мы не будем об этом думать».

«Я думаю только об этом», — ответила Хелен.

Мы пошли в «Соборный погребок», ресторан в старонемецком вкусе, и нашли столик, где нас не подслушают. Я заказал бутылку вина, и мы обсудили все необходимое. Завтра Хелен поедет в Цюрих. И там будет ждать меня. Я вернусь знакомым путем, через Австрию и Рейн, и позвоню ей, когда доберусь до Цюриха.

«А если не доберешься?» — спросила она.

«Из швейцарских тюрем можно писать письма. Подожди неделю. Если к тому времени не получишь от меня вестей, возвращайся обратно».

Хелен долго смотрела на меня. Знала, что́ я имею в виду. Из немецких тюрем письма́ не напишешь. «Граница строго охраняется?» — шепнула она.

«Нет, — сказал я. — И не думай об этом. Я приехал сюда, так почему же не выберусь отсюда?»

Мы старались игнорировать разлуку, но не слишком успешно. Словно могучая черная колонна, она стояла между нами, и мы разве что могли порой бросить из-за нее взгляд на растерянные лица друг друга. «Как пять лет назад, — сказал я. — Только на сей раз уезжаем мы оба».

Хелен помотала головой. «Будь осторожен! Ради бога, будь осторожен! Я подожду. Больше недели! Сколько хочешь. Только не рискуй!»

«Я буду осторожен. Не надо об этом. Осторожность можно заболтать. А тогда она притупляется».

Она накрыла мою руку своей. «Я только теперь поняла, что ты вернулся! Теперь, когда ты опять уходишь! Так поздно!»

«Я тоже. Хорошо, что теперь мы это знаем».

«Так поздно, — пробормотала она. — Только теперь, когда ты уходишь».

«Не только теперь. Мы все время знали. Разве бы я иначе приехал и разве бы ты меня ждала? Просто теперь мы можем сказать друг другу об этом».

«Я ждала не все время», — сказала она.

Я молчал. Я тоже не ждал, но понимал, что никогда не посмею сказать ей об этом. И меньше всего сейчас. И она, и я были совершенно откры-

ты и без всякой защиты. Если нам суждено жить вместе, то именно к этому мгновению в шумном мюнстерском ресторане мы оба, каждый сам по себе, сможем возвращаться вновь и вновь, чтобы черпать силу и твердость. Оно будет зеркалом, в которое мы сможем смотреть, и покажет нам два образа: тот, каким нас хотела видеть судьба, и тот, каким она сделала нас, а это много; ошибки случаются всегда оттого, что первый образ утрачен.

«Тебе пора, — сказал я. — Будь осторожна. Не превышай скорость».

Губы у нее дрогнули. Иронию я заметил, лишь когда уже произнес эту фразу. Мы стояли на ветреной улице меж старых домов. «Ты будь осторожен, — прошептала она. — Тебе это нужнее».

Некоторое время я сидел у себя в номере, потом не выдержал. Пошел на вокзал, купил билет до Мюнхена и выписал на листок подходящие поезда. Нашелся один, который отходил в тот же вечер. На нем я и уеду.

В городе царила тишина. Я прошел мимо Соборной площади и остановился. В темноте я различал лишь часть старинных зданий. Думал о Хелен и о том, что будет, но все это стало таким же огромным и неясным, как высокие окна в тени церкви; я вдруг опять засомневался, правильно

ли брать ее с собой, не приведет ли это к гибели, не совершил ли я легкомысленный проступок или получил неслыханную милость, а может, то и другое разом.

Неподалеку от гостиницы я услышал приглушенные голоса и шаги. Двое эсэсовцев вышли из подъезда, вытолкнув на улицу какого-то мужчину. Я видел его лицо в свете уличного фонаря. Узкое, восковое, из правого уголка рта стекала на подбородок черная струйка крови. Голова лысая, но на висках темные волосы. Глаза широко открыты и полны такого ужаса, какого я давно не видел. Мужчина молчал. Конвоиры тычками нетерпеливо подгоняли его вперед. Они не шумели, во всей сцене было что-то приглушенное, призрачное. Мимоходом эсэсовцы с яростным вызовом взглянули на меня, а пленник посмотрел на меня остановившимися глазами и сделал что-то вроде умоляющего жеста, губы его шевелились, но с них не слетело ни звука. Извечная для человечества сцена — прислужники насилия, жертва и вечный третий, зритель, который не поднимет руки, не защитит жертву и не попытается освободить ее, потому что боится за собственную безопасность, а собственная его безопасность именно по этой причине всегда

под угрозой.

Я знал, что ничего не могу сделать для арестованного. Вооруженные эсэсовцы без труда сладят со мной… вдобавок мне вспомнилось, как кто-то рассказывал мне о подобной сцене. Он видел, как эсэсовец арестовал и бил еврея, и бросился на помощь бедняге, послал эсэсовца в нокаут, а жертве крикнул, что надо бежать. Но арестованный проклинал своего избавителя, он, мол, теперь совсем пропал, потому что угодил в ситуацию, когда ему еще и это вменят в вину, и, рыдая, пошел за водой, чтобы привести эсэсовца в чувство и под его конвоем отправиться на смерть. Я вспомнил этот рассказ, однако все равно растерялся и, раздираемый противоречивостью беспомощности, презрения к себе, страха и едва ли не легкомысленных поисков счастья, пока других убивают, вернулся в гостиницу, забрал вещи и поехал на вокзал, хотя было еще слишком рано. Решил, что лучше сидеть в зале ожидания, чем прятаться в гостиничном номере. Небольшой риск, на который я при этом шел, по-детски давал хотя бы некоторую опору моему самолюбию.

8

— Ехал я всю ночь и следующий день и без затруднений добрался до Австрии. Газеты были полны требований, заверений и обычных сообщений о пограничных инцидентах, которые всегда предшествуют войнам и при которых сильные нации странным образом всегда обвиняют слабых в агрессивности. Я видел эшелоны с войсками, но большинство людей, с которыми я разговаривал, в войну не верили. Надеялись, что за прошлогодним Мюнхеном всякий раз будет следовать новый и что Европа слишком слаба и упадочна, чтобы отважиться воевать с Германией. Разительный контраст с Францией, где каждый знал, что войны не миновать, но находящийся под угрозой всегда знает больше, причем раньше, нежели агрессор.

В Фельдкирхе я снял комнату в маленьком пансионе. Стояло лето, время туристов, так что я никому в глаза не бросался. Два чемодана придавали мне респектабельности. Я решил оставить их здесь, взять с собой ровно столько вещей, чтобы они меня не стесняли. Сложил все в рюкзак,

так меньше всего привлекаешь внимание. Комнату я оплатил на неделю вперед.

На другой день я отправился в дорогу. До полуночи прятался на прогалине поблизости от границы. Помню, что поначалу меня донимали комары и что я видел тритона, который жил в прозрачной воде маленького бочажка. У него был гребешок, и временами он всплывал на поверхность вдохнуть воздуху. И тогда показывал пятнистое желто-красное брюшко. Я наблюдал за ним и думал, что для него весь мир ограничен этим бочажком. Для него это — Швейцария, Германия, Франция, Африка и Иокогама, все разом. Он мирно всплывал и нырял, в полной гармонии с вечером.

Я вздремнул несколько часов, потом приготовился. Был вполне уверен. А через десять минут рядом со мной словно из-под земли вырос таможенник: «Стоять! Ни с места! Что вы здесь делаете?»

Должно быть, он давно караулил в потемках. Мое заявление, что я безобидный турист, он пропустил мимо ушей. «Можете рассказать все это на таможне». С этими словами он снял оружие с предохранителя и повел меня в ближайшую деревню.

Я шел вконец пришибленный, отупевший, лишь крошечный уголок в мозгу был начеку, прикидывал, как бы смыться. Но куда там — таможенник хорошо знал свое дело. Шагал за мной на безопасном расстоянии, врасплох его не застигнешь, не нападешь, я бы и пяти шагов не пробежал, он бы немедля выстрелил.

На таможне он отпер крошечную комнатушку. «Заходите сюда. Ждите».

«Как долго?»

«Пока не вызовут на допрос».

«А сразу допросить нельзя? Я ничего не сделал, чтобы держать меня под арестом».

«Тогда вам не о чем беспокоиться».

«Я и не беспокоюсь, — сказал я, снимая рюкзак. — Стало быть, начнем».

«Начнем, когда мы тут будем готовы, — сказал таможенник, показывая превосходные белые зубы. Он выглядел как охотник, да и вел себя так же. — Утром придет нужный сотрудник. Поспать можете в этом кресле. Осталось всего-то несколько часов. Хайль Гитлер!»

Я осмотрелся. Окно зарешечено, дверь крепкая и заперта снаружи. Не сбежишь. Кроме того, за стеной разговаривали люди. Я сидел и ждал. Безнадежно. Наконец небо посерело, потом мало-

помалу стало голубым и ясным. Я опять услышал голоса, запахло кофе. Дверь отперли. Я сделал вид, будто проснулся, и зевнул. Вошел незнакомый таможенник, краснолицый толстяк, с виду добродушнее охотника. «Наконец-то! — сказал я. — Спать тут чертовски неудобно».

«Что вы делали на границе? — спросил он и принялся развязывать мой рюкзак. — Удрать хотели? Или у вас контрабанда?»

«Ношеные штаны контрабандой не провозят, — ответил я. — Как и ношеные рубашки».

«Ладно. Тогда что же вы делали там ночью?» Он отложил мой рюкзак в сторону. Я вдруг подумал о деньгах, которые имел при себе. Если он их найдет, я пропал. Надеюсь, он не станет меня обыскивать.

«Хотел ночью полюбоваться Рейном, — улыбнулся я. — Я же турист. И романтик».

«Откуда вы?»

Я назвал пансион и место, откуда пришел. «Хотел нынче утром туда вернуться, — сказал я. — Оставил там чемоданы. Я снял комнату на неделю, с оплатой вперед. Не похоже на контрабанду, а?»

«Ну-ну, — пробормотал он. — Мы все проверим. Через час я зайду за вами. Вместе отправимся

туда. Поглядим, что у вас в чемоданах».

Путь был долгий. Толстяк тоже оказался бдительным, как овчарка. Он катил рядом с собой велосипед и курил. Наконец мы добрались до места.

«Да вот же он!» — крикнул кто-то из окна пансиона. И тотчас передо мной выросла хозяйка. Красная как рак от волнения. «Господи, мы уж думали, с вами что-то случилось! Где вы были всю ночь?»

Утром хозяйка обнаружила мою нетронутую постель и вообразила, что меня убили. В здешних местах якобы шныряет разбойник, у которого на совести уже несколько грабежей. Поэтому она вызвала полицию. Полицейский вышел из дома следом за нею. Похож на охотника. «Я заблудился, — сказал я как можно спокойнее. — Вдобавок ночь была такая красивая! Впервые с детства я опять ночевал под открытым небом. Чудесно! Сожалею, что доставил вам беспокойство. К сожалению, я ненароком оказался слишком близко к границе. Пожалуйста, объясните таможеннику, что я здесь живу».

Хозяйка так и сделала. Таможенник был вполне удовлетворен, зато насторожился полицейский: «С границы? Документы у вас есть? Кто вы?»

На секунду у меня перехватило дыхание. Деньги Хелен лежали у меня в нагрудном кармане; если он их найдет, то заподозрит, что я хотел контрабандой провезти их в Швейцарию, и меня немедля возьмут под стражу. А что тогда будет, представить себе невозможно.

Я назвал свое имя, но паспорт пока не предъявлял, немцам и австрийцам в своей стране он не нужен. «Кто нам докажет, что вы не тот самый преступник, которого мы разыскиваем?» — сказал полицейский, похожий на охотника.

Я рассмеялся. «Тут нет ничего смешного», — сердито бросил он и вместе с таможенником принялся обыскивать мои чемоданы.

Я сделал вид, что расцениваю все как шутку, но толком не знал, как мне объяснить наличие денег, если дальше последует личный обыск. Решил сказать, что подумываю купить домик в здешних краях.

К моему удивлению, в боковом кармане второго чемодана чиновник нашел письмо, о котором я не знал. Этот чемодан я захватил из Оснабрюка, Хелен сложила туда мои давние вещи и привезла на машине. Полицейский достал из конверта бумагу, начал читать. Я напряженно наблюдал за ним, ведь понятия не имел, что это за пись-

мо, только надеялся, что оно старое, ничего не значащее.

Чиновник крякнул, поднял глаза. «Ваше имя — Йозеф Шварц?»

Я кивнул. «Что же вы сразу-то не сказали?» — спросил он.

«Так ведь я вам раньше говорил», — ответил я, пытаясь прочитать перевернутую типографскую шапку на бумаге.

«Верно, он говорил», — подтвердил таможенник.

«Значит, письмо касается вас?» — спросил полицейский.

Я протянул руку. Секунду он медлил, потом отдал мне бумагу. Теперь я разглядел типографскую шапку. Это был адрес отделения национал-социалистской партии в Оснабрюке. Я медленно прочел, что партийное отделение Оснабрюк просит оказывать всяческую поддержку члену партии Йозефу Шварцу, который находится при исполнении важного секретного задания. Подпись: Георг Юргенс, обер-штурмбаннфюрер, — рукой Хелен.

Я держал письмо в руке. «Там все верно?» — спросил таможенник с куда большим почтением, чем раньше.

Теперь я достал паспорт, открыл его, показал на имя и снова спрятал. «Секретное государственное дело», — сказал я.

«Поэтому?»

«Поэтому, — серьезно произнес я, пряча и письмо. — Надеюсь, этого вам достаточно?»

«Само собой. — Таможенник подмигнул блекло-голубым глазом. — Понятно. Наблюдение за границей».

Я поднял руку. «Ни слова об этом, пожалуйста. Дело секретное. Поэтому я и не мог ничего сказать. Однако вы все же выяснили. Вы состоите в партии?»

«Конечно», — сказал полицейский. Только сейчас я увидел, что он рыжий, и похлопал его по потному плечу: «Отлично! Вот вам обоим на стаканчик вина после всех трудов».

Шварц с меланхоличной улыбкой посмотрел на меня:

— Иной раз удивительно, как легко можно обвести вокруг пальца людей, которым по долгу службы надо быть недоверчивыми. Вам это знакомо?

— Без документов не получится, — сказал я. — Но снимаю шляпу перед вашей женой! Она предвидела, что такое письмо может вам пона-

добиться.

— Наверно, Хелен подумала, что, предложи она мне это письмо, я бы его не взял. По моральным причинам, пожалуй, или просто потому, что счел бы опасным. Главным образом, наверно, поэтому. А так я его взял. И оно меня спасло.

Я слушал Шварца с растущим интересом. А сейчас глянул по сторонам. Английский и немецкий дипломаты находились на танцплощадке. Танцевали фокстрот, и из них двоих англичанин был лучшим танцором. Немцу требовалось больше пространства, он танцевал с ожесточенной агрессивностью и двигал партнершу перед собой, словно пушку. В полумраке мне на миг почудилось, будто ожила доска с шахматными фигурами. Оба короля, немецкий и английский, порой угрожающе сближались, но англичанин каждый раз уворачивался.

— Что вы сделали потом? — спросил я у Шварца.

— Пошел к себе в комнату, — ответил он. — Я был совершенно без сил, хотел успокоиться и поразмыслить. Хелен спасла меня настолько неожиданным образом, что мне это показалось

деянием некоего deus ex machina[3], театральным трюком, который внезапно приводит ужасную неразбериху к благополучному разрешению. Но мне необходимо было уехать отсюда, пока полицейский не успел раззвонить обо всем или призадуматься. Поэтому я решил положиться на удачу, покуда она еще на моей стороне. Выяснил насчет ближайшего скорого поезда в Швейцарию. Он отходил через час. Хозяйке я объяснил, что мне нужно на денек съездить в Цюрих, поэтому я возьму с собой только один чемодан, а второй пусть побудет у нее, ведь через несколько дней я вернусь. Затем я пошел на вокзал. Вам знаком этот внезапный отказ от многолетней осторожности?

— Да, — сказал я. — Но при этом нередко впадаешь в заблуждение. Воображаешь, будто судьба задолжала тебе реванш. Только вот ничего она не задолжала.

— Конечно, — сказал Шварц. — Но порой все равно перестаешь доверять привычным приемам и думаешь, что надо опробовать новый. Хелен хотела, чтобы я поехал через границу вместе с ней. Я отказался и пропал бы, если бы не ее спаситель-

---

[3] Примечания: 3
Бог из машины (*лат.*).

ная хитрость, вот и решил теперь последовать ее примеру и поступить так, как она хотела.

— И поступили?

Шварц кивнул.

— Купил билет первого класса; роскошь всегда внушает доверие. Только когда поезд тронулся, я вспомнил о деньгах, которые были при мне. В купе их спрятать невозможно, я был не один. Вместе со мной ехал еще один пассажир, очень бледный и встревоженный. Я попытал счастья с туалетами — оба оказались заняты. Между тем поезд добрался до пограничной станции. Инстинкт погнал меня в вагон-ресторан. Я сел за столик, заказал бутылку дорогого вина и стандартный обед.

«У вас есть багаж?» — спросил официант.

«Да, в ближайшем вагоне первого класса».

«Тогда не угодно ли сначала покончить с таможенным досмотром? Я придержу для вас это место».

«Все это может затянуться. Принесите мне заказ. Я проголодался. И хочу заплатить сразу, чтобы вы потом не подумали, что я сбегу».

Надежда, что пограничники проглядят меня в вагоне-ресторане, не сбылась. Официант как раз ставил на стол вино и суп, когда появились

двое в форме. Деньги, которые были при мне, я тем временем засунул под войлочную подкладку скатерти, а письмо Хелен положил в паспорт.

«Паспорт», — резко бросил пограничник. Я протянул ему свой паспорт.

«Багажа нет?» — спросил он, еще не открыв его.

«Только ручной чемоданчик, — сказал я. — В ближайшем вагоне первого класса».

«Вам придется открыть чемодан», — сказал второй.

Я встал. «Придержите за мной это место», — сказал я официанту.

«Разумеется! Вы же уплатили вперед!»

Первый таможенник посмотрел на меня: «Вы уплатили вперед?»

«Да. Иначе я бы не мог позволить себе обед и вино. По ту сторону границы надо платить валютой. А ее у меня нет».

Таможенник неожиданно рассмеялся. «Неплохая идея! — воскликнул он. — Забавно, что мало кто до этого додумывается. Идите вперед. Мне надо закончить здесь проверку».

«А мой паспорт?»

«Мы вас найдем».

Я вернулся в свое купе. Попутчик сидел там,

еще более встревоженный, чем раньше. Он потел, то и дело утирая руки и лицо влажным платком. Я смотрел на вокзал, открыл окно. Если меня схватят, выпрыгивать не имеет смысла, убежать невозможно, однако открытое окно немного успокаивало.

В дверях появился второй таможенник: «Ваш багаж!»

Я снял с полки чемодан, открыл крышку. Он заглянул внутрь, потом досмотрел чемодан моего попутчика, козырнул и сказал: «Порядок».

«Мой паспорт», — сказал я.

«Он у моего коллеги».

Коллега появился в ту же минуту. Не тот, что прежде, — партиец в форме, худой, в очках и в сапогах.

Шварц усмехнулся:

— До чего же немцы любят сапоги!

— Они им нужны, — сказал я. — Ведь по такой грязище топают!

Шварц осушил свой бокал. За ночь он выпил немного. Я взглянул на часы: половина четвертого. Шварц заметил.

— Осталось недолго, — сказал он. — Вам хватит времени на пароход и все прочее. Теперь мне нужно рассказать о времени счастья. А о счастье

много не расскажешь.

— Как же вы выкрутились?

— Партиец прочитал письмо Хелен. Вернул мне паспорт и спросил, есть ли у меня знакомые в Швейцарии. Я кивнул.

«Кто они?»

«Господа Аммер и Ротенберг».

Так звали двух нацистов, работавших в Швейцарии. Каждый эмигрант, который жил в Швейцарии, знал их и ненавидел.

«А еще?»

«Наши в Берне. Незачем называть их всех, не правда ли?»

Он выбросил вперед руку. «Желаю удачи! Хайль Гитлер!»

Моему попутчику повезло меньше. Ему пришлось предъявить все документы и выдержать перекрестный допрос. Он потел и запинался. Сил не было смотреть. «Я могу вернуться в вагон-ресторан?» — спросил я.

«Разумеется! — ответил партиец. — Приятного аппетита!»

В вагоне-ресторане оказалось полно народу. Группа американцев оккупировала мой столик. «Где мое место?» — спросил я у официанта.

Он пожал плечами. «Я не мог его сохранить. Что

сделаешь с этими американцами? По-немецки они не понимают и садятся где ходят! Садитесь вон там. Столик есть столик, не так ли? Я уже переставил туда ваше вино».

Я не знал, как быть. Целое семейство радостно конфисковало все четыре места за моим столиком. Там, где лежали деньги, сейчас сидела очень красивая девушка лет шестнадцати, с фотоаппаратом. Начни я настаивать на том, чтобы сесть на прежнее место, я привлек бы внимание. Мы находились еще на германской территории.

Пока я стоял в замешательстве, официант сказал: «Почему бы вам не устроиться пока что за тем столиком, а потом пересесть, когда старое место освободится? Американцы едят быстро — бутерброды и апельсиновый сок. А я после принесу вам настоящий обед».

«Ну хорошо».

Я сел так, чтобы не выпускать из виду свои деньги. Странно, еще минутой раньше я бы охотно отказался от всех денег, лишь бы выкрутиться, а теперь сидел тут, думая только о том, что хочу получить их обратно, правда в Швейцарии, пусть даже мне придется напасть на американское семейство. Потом я заметил, как по перрону уводят маленького потного человека, и меня охватило

чувство глубокого, бессознательного удовлетворения, что это не я, соединенное с лицемерным сожалением, которое представляет собой всегонавсего подкуп судьбы посредством дешевого сочувствия. Я ощутил отвращение к самому себе и не мог да и не хотел ничего предпринять. Хотел спастись и вернуть свои деньги. Даже не деньги как таковые, а безопасность, Хелен, месяцы будущего, и все же это были деньги, и моя собственная шкура, и мое собственное эгоистичное счастье. Нам никогда от этого не избавиться. Но тот у нас внутри, кого мы не можем контролировать, должен бы оставить притворство…

— Господин Шварц, — перебил я. — Как вам удалось забрать свои деньги?

— Вы правы, — сказал он. — И без этой опрометчивой тирады тоже не обойтись. В вагон-ресторан явились швейцарские таможенники, а у американского семейства, как выяснилось, был не только ручной багаж, но и чемоданы в багажном вагоне. Пришлось им выходить. Вместе с детьми. Обед они закончили. Со стола убрали. Я пересел, положил руку на скатерть, почувствовал узкое возвышение.

«Закончили с таможней?» — спросил официант, подойдя с моей бутылкой.

«Конечно, — ответил я. — Несите-ка ростбиф. Мы уже в Швейцарии?»

«Пока нет, — сказал он. — Только когда поедем».

Он ушел, а я стал ждать, когда поезд тронется. Последнее безумное нетерпение, вероятно знакомое и вам. Я смотрел в окно на людей на перроне, где какой-то карлик в смокинге и не в меру коротких брюках изо всех сил старался продать с передвижной никелированной тележки гумпольдскирхенское вино и шоколад. Потом я увидел своего потного попутчика, он возвращался. Один, бегом бежал к вагону. «А вы в ударе», — сказал официант, возникший рядом.

«Что?»

«В смысле, здорово пьете, сударь, будто пожар тушите».

Я взглянул на бутылку. Она была почти пуста. Я пил, сам того не замечая. В этот миг вагон-ресторан дернулся. Бутылка закачалась и едва не упала. Я поймал ее. Поезд тронулся. «Принесите еще одну», — сказал я. Официант исчез.

Я извлек из-под скатерти деньги, спрятал в карман. Сразу после этого вернулись американцы. Сели за тот столик, где только что сидел я, заказали кофе. Девушка принялась фотографировать

пейзаж. Я решил, что она права: это был самый красивый пейзаж на свете.

Официант принес бутылку. «Вот теперь мы в Швейцарии».

Я заплатил за бутылку и дал ему щедрые чаевые. «Возьмите вино себе, — сказал я. — Мне оно уже не требуется. Хотел кое-что отметить, но теперь вижу, что и первой бутылки было многовато».

«Вы же пили почти что на голодный желудок, сударь», — сказал он.

«То-то и оно». Я встал.

«Может быть, у вас день рождения?» — спросил официант.

«Юбилей, — ответил я. — Золотой юбилей!»

Маленький попутчик несколько минут сидел молча; он уже не потел, но было видно, что костюм и белье отсырели. Потом он спросил: «Мы в Швейцарии?»

«Да», — ответил я.

Он опять замолчал, глядя в окно. Мы подъехали к станции со швейцарским названием. Швейцарский начальник станции махал рукой, двое швейцарских полицейских разговаривали, стоя возле багажа, который грузили в вагон. В киоске можно было купить швейцарский шоколад и

швейцарские сосиски. Попутчик высунулся в окно, купил швейцарскую газету. «Мы в Швейцарии?» — спросил он у мальчишки-газетчика.

«Да, где же еще? Десять раппенов».

«Что?»

«Десять раппенов! Десять сантимов! За газету!»

Попутчик расплатился так, будто сорвал большой куш. Другие деньги, видимо, наконец-то его убедили. Мне он не поверил. Он развернул газету, заглянул в нее и отложил в сторону. Я не сразу услышал, что́ он говорит. Был настолько оглушен новой свободой, что колеса поезда громыхали словно у меня в голове. Только заметив, как шевелятся губы попутчика, я сообразил, что он говорит.

«Наконец-то выбрался, — сказал он, пристально глядя на меня, — из вашей окаянной страны, господин партиец! Из страны, которую вы, сволочи, превратили в казарму и концлагерь! Я в Швейцарии, в свободной стране, где вам командовать не дано! Наконец-то можно открыть рот и не получить от вас сапогом в зубы! Что вы сделали с Германией, разбойники, убийцы, палачи!»

Крошечные пузырьки слюны пенились в уголках его рта. Он смотрел на меня, как истеричная женщина на жабу. Считал меня партийцем и

после всего, что слышал, был прав.

Я слушал его с глубочайшим спокойствием, потому что был спасен.

«Вы мужественный человек, — сказал я. — Я по меньшей мере фунтов на двадцать тяжелее и сантиметров на пятнадцать выше вас. Но вы продолжайте. Выговоритесь. Станет легче».

«Издеваетесь! — Он разозлился еще сильнее. — Вы еще и издеваетесь надо мной, да? Ну уж нет! Прошли те времена! Что вы сделали с моими родителями? Чем вам насолил мой старик-отец? А теперь! Теперь замыслили поджечь весь мир!»

«Думаете, будет война?» — спросил я.

«Давайте! Издевайтесь дальше! Будто сами не знаете! Что еще вам остается с вашим тысячелетним рейхом и гнусным оружием? Вы же профессиональные убийцы и преступники! Если не затеете войну, ваше мнимое благоденствие рухнет, и вы с ним вместе!»

«Я тоже так думаю, — сказал я, чувствуя на лице ласку предвечернего солнечного тепла. — Но что, если Германия победит?»

Человек в отсыревшем костюме уставился на меня и сглотнул. «Если вы победите, то, значит, Бога больше нет», — помолчав, с трудом выговорил он.

«Вот и я так считаю». Я встал.

«Не прикасайтесь ко мне! — прошипел он. — Вас арестуют! Я дерну экстренный тормоз! Донесу на вас! Да на вас все равно донесут, вы же шпион! Я слышал, что́ вы им говорили!»

Еще чего недоставало, подумал я. И сказал: «Швейцария — свободная страна. Тут из-за доноса почем зря не арестуют. Вы там, похоже, многому научились».

Я взял чемодан и перебрался в другое купе. Не хотел просвещать истеричного попутчика, но и сидеть напротив него не хотел. Ненависть — кислота, разъедающая душу, все равно, сам ли ненавидишь или ненавидят тебя. Это я усвоил в своих скитаниях.

Так я добрался до Цюриха.

9

На миг музыка умолкла. С танцплощадки донеслись возбужденные голоса. Затем оркестр грянул с новой силой, запела какая-то женщина в канареечном платье, с ниткой фальшивых брильянтов в волосах. Случилось неизбежное: немецкий партиец во время танца столкнулся с одним из англичан. Оба обвиняли друг друга в умысле. Управляющий и двое официантов изображали Лигу Наций и старались их успокоить, но те не слушали. Оркестр был умнее: изменил ритм. Вместо фокстрота заиграл танго, и дипломатам пришлось делать выбор: либо по-прежнему стоять, выставляя себя на посмешище, либо продолжить танец. Правда, немец, судя по всему, танцевать танго не умел, тогда как англичанин, не сходя с места, сразу вошел в ритм. Поскольку вслед за тем их стали толкать другие пары, спор заглох. Яростно глядя друг на друга, они отошли к своим столикам.

— Дуэль, — презрительно обронил Шварц. — Почему они не вызовут друг друга на дуэль?

— Вы прибыли в Цюрих, — сказал я.

Он слабо улыбнулся:

— Уйдем отсюда?

— Куда?

— Наверняка есть простенькие кафе, открытые всю ночь. А это могила, где танцуют и играют в войну.

Он расплатился и спросил официанта насчет другого заведения. Тот записал адрес на листке, вырванном из своего блокнота, и указал нам, в какую сторону идти.

За порогом нас встретила дивная ночь. По-прежнему сияли звезды, но море и утро уже заключили друг друга у горизонта в первые голубые объятия, небо стало выше, а запах соли и цветов еще усилился. День будет ясный. Днем Лиссабону присуще что-то наивно-театральное, чарующее и пленительное, а вот ночью он — город-сказка, который уступами, весь в огнях, спускается к морю, как женщина в праздничном уборе, склоняющаяся к смуглому возлюбленному.

Некоторое время мы стояли молча.

— Вот такой некогда представлялась нам жизнь, верно? — наконец печально проговорил Шварц. — Тысячи огней и улицы, ведущие в бесконечность…

Я не ответил. Для меня жизнь была кораблем, что стоял на якоре внизу, на Тежу, а он плыл не в бесконечность… он плыл в Америку. Хватит с меня приключений, время закидало нас ими, как гнилыми яйцами. Самое замечательное приключение — действительный паспорт, виза и билет. Для скитальца против воли будничное давным-давно стало фантасмагорией, а приключение — бедствием.

— Цюрих казался мне тогда таким же, как вам нынче ночью этот город, — сказал Шварц. — Там началось то, что я считал утраченным. Вы ведь знаете, время — жиденькая заварка смерти, которой нас исподволь потчуют как безвредным ядом. Поначалу он бодрит и даже внушает нам мысль, что мы почти бессмертны… но когда капля за каплей, день за днем становится на одну каплю и один день сильнее, то оборачивается кислотой, замутняющей и разрушающей нашу кровь. Даже попытайся мы выкупить юность теми годами, что нам еще остались, ничего бы не вышло, кислота времени изменила нас, и химический состав уже не тот, разве что случится чудо. И это чудо случилось.

Он остановился, не сводя глаз с искрящегося города.

— Мне бы хотелось, чтобы эта ночь стала в моей памяти самой счастливой в жизни, — прошептал он. — А она самая страшная. Как вы думаете, память сумеет совершить такое? Должна же суметь! Чудо, когда его переживаешь, никогда не бывает совершенным, таким его делает только память… и если счастье умерло, оно ведь больше не может измениться и стать разочарованием. Остается совершенным. Если теперь я еще раз сумею воскресить его, разве не должно оно остаться таким, каким я его вижу? Не должно остаться со мной, пока я жив?

Он выглядел почти как лунатик, стоя вот так на лестнице, на фоне неумолимо наступающего утра, несчастная, забытая фигура из ночи, и мне вдруг стало страшно жаль его.

— В самом деле, — осторожно сказал я, — как мы можем по-настоящему знать, счастливы ли и до какой степени, коль скоро не знаем, что́ останется и как останется?

— Зная каждую секунду, что не можем да и не пытаемся его удержать, — прошептал Шварц. — Если мы не желаем удержать и схватить его руками, грубой хваткой, разве оно тогда без испуга не остается у нас в глазах? И разве не живет там, пока живут глаза?

Он все еще смотрел вниз на город, где находился еловый гроб и стоял на якоре корабль. На мгновение его лицо словно бы распалось на части, так его исказило выражение мертвой боли; потом оно опять задвигалось, рот уже не был черным провалом, а глаза не были галькой.

Мы продолжили спуск к гавани.

— Господи, — немного погодя сказал он. — Кто мы? Кто вы, кто я, кто остальные и кто те, кого уже нет? Что реально — отражение или стоящий перед зеркалом? Живой или воспоминание, образ без боли? Мы теперь слились воедино, умершая и я, и, может статься, она лишь теперь целиком моя, в этой безотрадной алхимии, в какой она сейчас отвечает, лишь когда я хочу и как я хочу, усопшая, оставшаяся только в легкой фосфоресценции здесь, под моим черепом? Или я не просто потерял ее, но теряю теперь еще раз, каждую секунду понемногу, оттого что воспоминание медленно угасает? Я должен удержать ее, сударь, понимаете? — Он хлопнул себя по лбу.

Мы вышли на улицу, которая длинными уступами вела вниз по холму. Вчера днем здесь, должно быть, состоялся какой-то праздник. Гирлянды, уже увядшие и пахнущие кладбищем, висели на железных штангах меж домами, вдобавок от

дома к дому тянулись шнуры с электрическими лампочками, перемежающимися с похожими на тюльпаны большими лампами. Высоко над ними, примерно через каждые двадцать метров, парили пятиконечные звезды из мелких электрических лампочек. Вероятно, все это соорудили для какого-то шествия или для одного из многих религиозных праздников. Теперь, при свете начинающегося утра, декор выглядел убогим и потрепанным, и лишь в одном месте, внизу, что-то, видимо, не заладилось с контактами — там до сих пор горела звезда странно резким, бледным светом, какой бывает у ламп ранним вечером или утром.

— Вот оно, — сказал Шварц, открывая дверь кафе, где все еще не выключили свет. Крепкий загорелый мужчина вышел нам навстречу. Указал на столик. В низком помещении стояли несколько бочек, за одним из немногочисленных столиков сидели мужчина и женщина. Хозяин мог предложить только вино и холодную жареную рыбу.

— Вы знаете Цюрих? — спросил у меня Шварц.

— Да. В Швейцарии полиция арестовывала меня четыре раза. Там хорошие тюрьмы. Гораздо лучше, чем во Франции. Особенно зимой. К

сожалению, сажают максимум на две недели, когда хочешь отдохнуть. Потом тебя выдворяют, и опять начинается пограничный балет.

— Решение открыто пересечь границу что-то во мне освободило, — сказал Шварц. — Я вдруг перестал бояться. При виде полицейского на улице сердце у меня больше не замирало, я пока что испытывал шок, но совсем легкий, в самый раз, чтобы спустя секунду тем отчетливее осознать свою свободу.

Я кивнул:

— Обостренное ощущение жизни благодаря присутствию опасности. Превосходно, пока опасность лишь маячит на горизонте.

— Вы так полагаете? — Шварц как-то странно посмотрел на меня. — Это идет намного дальше. До того, что мы называем смертью, и еще дальше. Где утрата, если можно удержать чувство? Разве город исчезает, когда покинешь его? Разве не живет в вас, даже если разрушен? И кто знает, что́ есть умирание? Не скользит ли по нашим переменчивым лицам не только неспешный луч света? И разве не было у нас лица, прежде чем мы родились, самого первого лица, того, что должно остаться после разрушения других, преходящих?

Кошка потерлась о стулья. Я бросил ей кусочек

рыбы. Она подняла хвост трубой и отвернулась.

— Вы встретились в Цюрихе с женой? — осторожно спросил я.

— Да, в гостинице. Скованность, выжидание, одолевавшее меня в Оснабрюке, стратегия боли и обиды исчезли и не возвращались. Я встретился с женщиной, которую не знал, но любил, с которой меня вроде как связывали девять лет беззвучного прошлого, однако это прошлое не имело над нею никакой власти, не ограничивало ее, не подчиняло себе. Яд времени, казалось, и у Хелен испарился, когда она пересекла границу. Прошлое теперь принадлежало нам, но мы не принадлежали ему; вместо гнетущего образа лет, каким представляется обычно, оно перевернулось и теперь было зеркалом, которое отражало одних только нас, без привязки к нему. Решение вырваться и сам поступок так категорично отделили нас от всего Раньше, что невозможное стало реальностью: новое ощущение жизни, без морщин минувшего.

Шварц посмотрел на меня, и опять на его лице мелькнуло странное выражение.

— Так и осталось. И опорой всему была Хелен. Я не мог, особенно ближе к концу. Но она-то могла, и этого хватало, вот что важно, как думаете?

Лишь теперь мне тоже необходимо смочь, потому-то я и говорю с вами! Да, именно потому!

— Вы остались в Цюрихе? — спросил я.

— Мы пробыли там неделю, — сказал Шварц прежним тоном. — Жили в этом городе и в единственной европейской стране, где мир еще как будто бы не пошатнулся. У нас были деньги на несколько месяцев, и Хелен привезла с собой драгоценности, которые мы могли продать. Вдобавок во Франции еще остались рисунки покойного Шварца.

Лето тридцать девятого года! Казалось, Бог хотел еще раз показать всему свету, что такое мир и что́ он потеряет. Дни до краев полнились покоем этого лета и стали нереальными, когда мы позднее уехали из Цюриха на юг Швейцарии, к озеру Лаго-Маджоре.

Семья слала Хелен письма, звонила по телефону. Она сообщила им только, что едет в Цюрих к своему врачу. При отлично поставленной в Швейцарии системе регистрации они без труда установили ее адрес. И теперь засыпали ее вопросами и упреками. Она еще могла вернуться. Нам предстояло принять решение.

Жили мы в одной гостинице, но не вместе. Состояли в браке, но паспорта были на разные

фамилии, а поскольку главное — бумага, то фактически жить вместе мы не могли. Ситуация странная, однако она усиливала ощущение, что время для нас повернуло вспять. По одному закону мы были мужем и женой, по другому — нет. Новое окружение, долгая разлука, а в первую очередь Хелен, которая очень изменилась, с тех пор как попала сюда, — все это создавало атмосферу зыбкой нереальности и одновременно сияюще-обрывочной реальности, над которой витал последний редеющий туман грезы, уже канувшей в забвение. Тогда я еще не знал, откуда это взялось… воспринимал как нечаянный подарок, будто мне разрешено повторить часть никудышного бытия и преобразить его в наполненную жизнь. Из крота, который без паспорта прокапывался под границами, я стал птицей, не ведавшей границ.

Однажды утром, когда я пришел за Хелен, я застал у нее некого господина Краузе, которого она представила как сотрудника германского консульства. Ко мне она обратилась по-французски и назвала мсье Ленуаром. Краузе понял ее неправильно и на скверном французском спросил, не сын ли я знаменитого художника.

Хелен рассмеялась. «Господин Ленуар — жене-

вец, — объяснила она. — Но говорит и по-немецки. С Ренуаром его связывает лишь огромное восхищение».

«Вы любите импрессионистские картины?» — спросил меня Краузе.

«У него целая коллекция», — сказала Хелен.

«Несколько карандашных рисунков», — возразил я. Именовать наследство покойного Шварца коллекцией показалось мне одной из новых причуд Хелен. Но поскольку одна из ее причуд спасла меня от концлагеря, я подыграл ей.

«Вы знакомы с коллекцией Оскара Райнхарта в Винтертуре?» — любезно осведомился Краузе.

Я кивнул: «У Райнхарта есть Ван Гог, за которого я бы месяц жизни отдал».

«Какой месяц?» — спросила Хелен.

«Какой Ван Гог?» — спросил Краузе.

«Сад дома для умалишенных».

Краузе усмехнулся: «Чудесная картина!»

Он повел речь о других полотнах, а когда заговорил о Лувре, я, вышколенный покойным Шварцем, мог вставить словечко. Теперь я понял и тактику Хелен; она не хотела, чтобы во мне распознали ее мужа или эмигранта. Германские консульства не брезговали доносами в полицию по делам иностранцев. Я чувствовал, что Краузе

пытается выяснить, какое отношение я имею к Хелен. Она все поняла еще до того, как он начал задавать вопросы, и теперь придумала мне жену — Люсьен — и двоих детей, из которых старшая дочка изумительно играла на фортепиано.

Глаза Краузе быстро перебегали с нее на меня и обратно. Пользуясь разговором, он любезно предложил новую встречу — быть может, ленч в одном из рыбных ресторанчиков у озера… так редко встречаешь людей, которые вправду знают толк в живописи.

Я столь же любезно согласился — когда снова буду в Швейцарии. То есть через месяц-полтора. Он удивился: думал, что я живу в Женеве. Я объяснил, что родом из Женевы, но живу в Бельфоре. Бельфор расположен во Франции, там ему не так-то просто навести справки. На прощание он не забыл задать последний вопрос: где же мы с Хелен познакомились, ведь с симпатичными людьми сталкиваешься так редко.

Хелен посмотрела на меня. «У врача, господин Краузе. Больные люди зачастую симпатичнее… — она коварно улыбнулась ему, — …здоровяков, у которых даже в мозгу не нервы, а мускулы».

На сей финал он ответил многозначительным взглядом:

«Понимаю, сударыня».

«Разве у вас Ренуар не относится к декадентам? — спросил я, чтобы не отставать от Хелен. — Ван Гог-то наверняка».

«Не для нас, не для знатоков», — отвечал Краузе, опять-таки с многозначительным взглядом, и выскользнул за дверь.

«Чего он хотел?» — спросил я у Хелен.

«Шпионил. Я хотела предупредить, чтобы ты не заходил, но уже не застала тебя в номере. Его послал мой брат. Как я все это ненавижу!»

Призрачная рука гестапо протянулась через границу, напоминая нам, что мы еще не вполне сбежали. Краузе сказал Хелен, чтобы она при случае зашла в консульство. Ничего серьезного, просто надо проставить в паспорта новый штамп. Вроде как разрешение на выезд. Ликвидировать маленькое упущение.

«Он говорит, таково новое предписание», — пояснила Хелен.

«Ложь, — сказал я. — Иначе я бы знал. Эмигранты всегда сразу узнают подобные вещи. Если пойдешь, они могут изъять у тебя паспорт».

«И тогда я стану эмигранткой, как ты?»

«Да. Если не вернешься».

«Я останусь. И в консульство не пойду, и назад

не вернусь».

Прежде мы никогда об этом не говорили. Она приняла решение. Я молчал. Только смотрел на Хелен, видел за нею небо, и деревья сада, и узкую, искристую полоску озера. На фоне яркого света ее лицо казалось темным. «Ты за это не в ответе, — нетерпеливо сказала она. — Ты меня не уговаривал и совершенно тут ни при чем. Даже если б тебя здесь не было, я бы туда больше не вернулась. Достаточно?»

«Да, — растерянно и слегка пристыженно сказал я. — Но я думал не об этом».

«Я знаю, Йозеф. Тогда давай не будем говорить об этом. Никогда больше не будем».

«Краузе придет снова, — сказал я. — Или кто-нибудь другой».

Хелен кивнула: «Они могут раскопать, кто ты, и начнут чинить тебе препятствия. Давай уедем на юг».

«В Италию нельзя. Гестапо слишком дружит с полицией Муссолини».

«А другого юга нет?»

«Есть. Швейцарский Тессин. Локарно и Лугано».

Под вечер мы уехали. И спустя пять часов сиде-

ли на *piazza*[4] в Асконе перед «Locanda Svizzera»[5], в мире, который отделяли от Цюриха не пять, а пятьдесят часов. Итальянский пейзаж, городок полон туристов, и каждый, казалось, думал лишь о том, чтобы поплавать, позагорать на солнце и спешно урвать от жизни все, что только возможно. Странное настроение владело Европой в те месяцы. Вы помните? — спросил Шварц.

— Да, — ответил я. — Все надеялись на чудо. На второй Мюнхен. И на третий. И так далее.

— Полусумрак надежды и отчаяния. Время затаило дыхание. Казалось, ничто другое уже не отбрасывало тени под прозрачной и нереальной тенью великой угрозы. Вместе с солнцем в сияющих небесах словно бы стояла огромная средневековая комета. Все расшаталось. И все было возможно.

— Когда же вы уехали во Францию? — спросил я.

Шварц кивнул.

— Вы правы. Все прочее было лишь краткосрочно. Франция — неугомонный приют бесприютных. Все дороги всегда ведут туда. Через неделю

---

[4] Примечания: 4
Площадь (*ит.*).

[5] Примечания: 5
«Швейцарская гостиница» (*ит.*).

Хелен получила от господина Краузе письмо. Ей, мол, надлежит немедля явиться в консульство в Цюрихе или в Лугано. Это важно.

Пришла пора уезжать. Швейцария слишком мала и слишком хорошо организована. Нас везде отыщут. И меня с моим фальшивым паспортом могут в любое время проверить и выслать.

Мы поехали в Лугано, но не в германское, а во французское консульство, за визой. Я ожидал сложностей, но все прошло гладко. Нам дали годичную туристическую визу. Я рассчитывал максимум на трехмесячную.

«Когда поедем?» — спросил я у Хелен.

«Завтра».

В последний вечер мы поужинали в саду в «Albergo della posta»[6] в Ронко, деревне, подвешенной, точно ласточкино гнездо, на горах высоко над озером. Меж деревьями поблескивали фонарики со свечами, кошки крались по оградам, а с террас, расположенных ниже сада, веяло ароматом роз и дикого жасмина. Озеро с островами, где в римские времена, говорят, стоял храм Венеры, лежало недвижно, горы вокруг — кобальтово-синие на фоне светлого неба; мы ели

---

[6] Примечания: 6
«Почтовый постоялый двор» (*ит.*).

спагетти и пиккату[7], запивая местным вином, «Нострано». Вечер выдался почти невыносимо сладостный и меланхоличный.

«Жаль, что надо уезжать, — сказала Хелен. — Я бы с удовольствием осталась здесь на все лето».

«Это ты скажешь еще не раз».

«Что может быть лучше, чем так говорить? Я часто говорила обратное».

«Что же?»

«Жаль, что я должна остаться».

Я взял ее руку. Хелен прекрасно загорела, солнцу понадобилось не более двух дней, а от этого ее глаза казались светлее. «Я очень тебя люблю, — сказал я. — Люблю тебя, и этот миг, и это лето, которое не задержится, и этот пейзаж, и прощание, и впервые в жизни себя самого, потому что я, как зеркало, отражаю тебя и таким образом вижу вдвойне. Благословен будь этот вечер и этот час!»

«Благословенно будь все! Давай выпьем за это. И будь благословен ты, потому что наконец осмелился сказать нечто такое, из-за чего раньше покраснел бы».

«Я все еще краснею. Но внутренне и без стыда.

---

[7] Примечания: 7
Пикката — традиционное итальянское блюдо из курицы.

Дай мне немного времени. Я должен привыкнуть. Даже гусенице надо привыкнуть, когда она после бытия в потемках выползает на свет и обнаруживает, что у нее есть крылья. Как счастливы здесь люди! Как дивно пахнет дикий жасмин! Официантка говорит, тут в лесах его полным-полно».

Мы допили вино и пошли прогуляться средь узких улочек по старой горной дороге, ведущей в Аскону. Кладбище Ронко, полное цветов и крестов, нависало над дорогой. Юг — искуситель, он стирает мысли и делает фантазию царицей. Средь пальм и олеандров ей не требуется особой помощи, не то что средь армейских сапог и казарм. Как огромное шумящее знамя, над нами реяло небо, где каждую минуту высыпáло все больше звезд, словно было оно флагом некой расширяющейся вселенской Америки. Асконская *piazza* искрилась огнями кафе далеко по озеру, а из долин веяло прохладным ветерком.

Мы подошли к дому, который арендовали. Он стоял у озера и имел две спальни; здешней морали этого, по-видимому, было достаточно.

«Сколько нам осталось жить?» — спросила Хелен.

«Если будем осторожны, то год, а может, еще на полгода дольше».

«А если мы будем жить неосторожно?»

«Это лето».

«Давай будем жить неосторожно», — сказала она.

«Лето коротко».

«Да, — вдруг с жаром сказала она. — Лето коротко, и жизнь коротка, но что ее укорачивает? Знание, что она коротка. Кошки на улице знают, что жизнь коротка? Птица знает? Мотылек? Они считают ее вечной. Никто им не говорил! Почему же нам сказали?»

«На это есть много ответов».

«Дай один!»

Мы стояли в темной комнате. Двери и окна были распахнуты. «Один таков: жизнь была бы невыносимой, будь она вечной».

«Ты имеешь в виду, скучной? Как жизнь Бога? Это неправда. Дай другой ответ!»

«В жизни больше бед, нежели счастья. И что она не длится вечно, на самом деле милосердно».

«Все это неправда, — помолчав, сказала Хелен. — Мы говорим так потому только, что знаем: нам не дано остаться, не дано ничего удержать, а в этом милосердия нет. Мы его придумываем. Изобретаем, чтобы надеяться».

«И все же верим в него, разве нет?» — спро-

сил я.

«Я не верю!»

«В надежду?»

«Ни во что не верю. Для каждого настанет черед. — Она сердито швырнула одежду на кровать. — Для каждого. А том числе для арестанта с его надеждой, пусть даже однажды он увернется. Все равно в следующий раз настанет его черед».

«Так он на это и надеется. Лишь на это».

«Да. Это все, что мы можем! Вот так же обстоит в мире с войной. Мир надеется на другой раз. Но никто не в силах предотвратить ее».

«Войну все-таки можно предотвратить, — возразил я. — А смерть нет».

«Не смейся!» — выкрикнула она.

Я шагнул к ней. Она отпрянула, выбежала на улицу.

«Что с тобой, Хелен?» — удивленно спросил я. Снаружи было светлее, чем в комнате, и я увидел, что лицо у нее залито слезами. Она не ответила, и я расспрашивать не стал.

«Я напилась, — наконец сказала она. — Разве ты не видишь?»

«Нет».

«Выпила слишком много вина».

«Слишком мало. Вот еще бутылка».

Я поставил «Фьяско нострано» на каменный стол, стоявший на лужайке за домом, и пошел в дом за бокалами. Вернувшись, я увидел, что Хелен идет по лужайке к озеру. Я не сразу пошел за ней. Наполнил бокалы, в бледном отсвете неба и озера вино казалось черным. Потом я медленно зашагал по лужайке вниз, к пальмам и олеандрам на берегу. Меня вдруг охватила тревога за Хелен, и, увидев ее, я вздохнул с облегчением. Она стояла у воды в странно пассивной, склоненной позе, словно ждала — зова или чего-то, что возникнет перед нею. Я замер — не затем, чтобы наблюдать за нею, а чтобы не испугать ее. Немного погодя она вздохнула и выпрямилась. А потом шагнула в воду.

Когда увидел, что она плывет, я сходил в дом, принес мохнатое полотенце и купальный халат. Потом сел на гранитную глыбу и стал ждать. Глядя на ее голову с высоко подколотыми волосами, совсем маленькую в водном просторе, я думал о том, что она — все мое достояние, и с удовольствием окликнул бы ее, позвал обратно. Но в то же время меня не оставляло ощущение, что ей нужно в одиночку выдержать схватку с чем-то мне неведомым и сейчас она именно этим и занята… вода была для нее судьбой, и вопросом,

и ответом, и ей нужно вынести все в одиночку, как любому из нас, — та малость, какую может сделать другой, это просто быть рядом, чтобы дать хоть немного тепла.

Хелен заплыла далеко по дуге, потом повернула и по прямой поплыла обратно, ко мне. Такое счастье было видеть, как она приближается, темная головка на лиловом озере, а потом наконец тоненькая и светлая выходит из воды и быстро направляется ко мне.

«Холодно. И неуютно. Горничная говорит, на дне озера среди островов живет гигантский кракен».

«Самые большие рыбы в этом озере — старые щуки, — сказал я, закутывая ее в полотенце. — Кракены тут не водятся. Они есть только в Германии, с тридцать третьего года. Но по ночам любой водоем неуютен».

«Если мы можем думать, что кракены существуют, то наверняка так и есть, — объявила Хелен. — Мы не умеем представлять себе несуществующее».

«Это было бы попросту доказательство бытия Бога».

«Ты не веришь?»

«Сегодня ночью я верю всему».

Она прижалась ко мне. Я выпустил из рук мокрое полотенце, протянул ей купальный халат. «Ты веришь, что мы живем несколько раз?» — спросила она.

«Да», — без колебаний ответил я.

Она вздохнула. «Слава богу! Я бы не смогла сейчас спорить еще и об этом. Я устала и замерзла. Как-то забываешь, что озеро горное».

Кроме вина, я прихватил на «Почтовом дворе» бутылку граппы, чистой водки из виноградных выжимок, наподобие французского марка. Пряная, крепкая, в самый раз для подобных мгновений. Я принес бутылку и налил Хелен большой бокал. Она медленно выпила. «Мне не хочется уезжать отсюда», — сказала она.

«Завтра ты все забудешь, — возразил я. — Мы поедем в Париж. Ты никогда там не бывала. Это самый прекрасный город на свете».

«Самый прекрасный город на свете — тот, где ты счастлив. Это банальность?»

Я рассмеялся: «К черту осторожность в стилистике! Пусть у нас будет сколько угодно банальностей! Особенно таких. Хочешь еще граппы?»

Она кивнула, я принес бокал и себе. Мы сидели на лужайке за каменным столиком, пока Хелен не задремала. Я уложил ее в постель. Она уснула

рядом со мной. В открытую дверь я смотрел на лужайку, которая мало-помалу налилась синевой, а затем серебром. Через час Хелен проснулась, пошла на кухню за водой. Вернулась она с письмом, которое доставили, пока мы были в Ронко. Должно быть, оно лежало у нее в комнате. «От Мартенса», — сказала она.

Прочитав письмо, она отложила его в сторону. «Он знает, что ты здесь?» — спросил я.

Она кивнула: «Он сообщил моей семье, что я снова поехала в Швейцарию на обследование по его совету и задержусь на несколько недель».

«Ты у него лечилась?»

«Иногда».

«От чего?»

«Да так, пустяки», — ответила она и сунула письмо в сумочку. Мне она не дала его прочитать.

«Откуда у тебя, собственно, этот шрам?» — спросил я.

Тонкая белая полоска тянулась по ее животу. Я еще раньше заметил ее, но на загорелой коже она проступила отчетливее.

«Небольшая операция. Ничего серьезного».

«Что за операция?»

«Из тех, о которых не говорят. У женщин иной

раз бывает такое.

Она погасила свет. Шепнула: «Как хорошо, что ты приехал за мной. Я была уже на пределе. Люби меня! Люби и ни о чем не спрашивай. Ни о чем. Никогда».

10

— Счастье, — произнес Шварц. — Как оно съеживается в памяти! Словно дешевая ткань при стирке. В счет идет только беда. Мы приехали в Париж, сняли комнаты в маленькой гостинице на левом берегу Сены, на набережной Гран-Огюстен. Гостиница была без лифта, ступеньки лестниц от старости прогнулись и искривились, комнаты крошечные, но с видом на Сену, на лавки букинистов на набережной, на Консьержери и Нотр-Дам. У нас были паспорта. До сентября тридцать девятого мы оставались людьми.

До сентября мы оставались людьми, и не имело значения, подлинные у нас паспорта или нет. Но приобрело значение, когда началась Холодная война. «На что ты здесь жил? — спросила у меня Хелен в июле, через несколько дней по приезде. — Тебе разрешалось работать?»

«Конечно, нет. Мне ведь и существовать не разрешалось. Как в таком случае получишь разрешение на работу?»

«И на что же ты жил?»

«Не помню уже, — ответил я совершенно прав-

диво. — Кем я только не работал. Всегда недолго. Во Франции не за всем следят в оба, нередко есть возможность чем-нибудь заняться нелегально, особенно если работаешь за гроши. Я загружал и разгружал ящики на Центральном рынке, был официантом, торговал носками, галстуками и рубашками, давал уроки немецкого, иногда получал кое-что от Комитета беженцев, продавал свои вещи, какие еще имел, шоферил, писал мелкие заметки для швейцарских газет».

«А снова стать редактором не мог?»

«Нет. Для этого нужно разрешение на жительство и на работу. Последний раз я надписывал адреса. Потом появился Шварц, а с ним моя апокрифическая жизнь».

«Почему апокрифическая?»

«Фальшивая, тайная, под защитой покойника и чужого имени».

«На твоем месте я бы называла ее иначе», — сказала Хелен.

«Можно называть ее как угодно. Двойная жизнь, заемная, вторая. Скорее уж вторая. Я так чувствую. Мы как потерпевшие крушение, утратившие память. Им не о чем жалеть — ведь память всегда еще и сожаление, что пришлось проиграть времени то хорошее, что имел, а пло-

хое оставить неисправленным».

Хелен засмеялась: «Кто же мы теперь? Обманщики, покойники или духи?»

«Легально мы туристы. Нам разрешено находиться здесь, но работать нельзя».

«Ладно, — сказала она. — Тогда давай не будем работать. Давай отправимся на остров Сен-Луи, посидим на лавочке на солнышке, а потом пойдем в «Кафе де ла Франс» и пообедаем на воздухе. Хорошая программа?»

«Очень хорошая», — согласился я, на том и порешили. Я не стал искать случайного заработка. Мы были вместе с раннего утра до раннего утра и много недель не разлучались.

Мимо с шумом летело время, с экстренными выпусками газет, тревожными новостями и чрезвычайными заседаниями, но внутренне оно нас не затрагивало. Мы жили не в нем. Его не было. А что же тогда было? Вечность! Когда чувство заполняет все, для времени больше нет места. Ты на других берегах, по ту его сторону. Или вы не верите?

На лице Шварца вновь появилось напряженное, отчаянное выражение, какое я уже видел раньше.

— Или вы не верите? — спросил он.

Я устал и против воли начал терять терпение. Слушать о счастье неинтересно, о фокусах Шварца с вечностью — тоже.

— Не знаю, — бездумно обронил я. — Быть может, вправду счастье или вечность, когда там умираешь; время тогда более не может приложить календарный масштаб и должно это принять. Но когда продолжаешь жить, поневоле приходится принять, что и это тоже, хочешь не хочешь, опять-таки становится частью времени и преходящности.

— Оно не должно умирать! — вдруг с жаром воскликнул Шварц. — Оно должно остаться, как мраморное изваяние! Не как замок из песка, толику которого всякий день уносит прочь! Что же происходит с умершими, которых мы любим? Что с ними происходит, сударь? Разве их не умерщвляют всегда снова и снова? Где они, если не в нашей памяти? И не становимся ли мы все убийцами, сами того не желая? Я что же, должен отдать под нож времени это лицо, которое знаю один только я? Знаю, оно наверняка распадется во мне и станет подделкой, если я не выну его из себя, не выставлю наружу, чтобы ложь моего продолжающего жить мозга не оплела его, как плющ, и не разрушила, ведь иначе в конце

концов останется один этот плющ и оно станет перегноем, питающим трутня-время! Это я знаю! Потому и должен спасти его даже от меня самого, от гложущего, эгоистичного стремления жить дальше, которое хочет забыть его и уничтожить! Неужели вам непонятно?

— Понятно, господин Шварц, — осторожно ответил я. — Вы ведь потому и говорите со мной… чтобы спасти его от вас самого…

Я досадовал, что прежде ответил так небрежно. Этот человек логическим и поэтическим образом был безумец, донкихот, желающий сразиться с ветряными мельницами времени… а я слишком уважал боль, чтобы стремиться выяснить, почему и как далеко он мог в этом зайти.

— Если мне все удастся… — сказал Шварц и осекся. — Если удастся, тогда я ему не опасен. В это вы верите?

— Да, господин Шварц. Наша память не ларец из слоновой кости в пыленепроницаемом музее. Это зверь, который живет, жрет, переваривает. Она пожирает сама себя, как сказочный феникс, чтобы мы могли жить дальше, чтобы она нас не уничтожила. Вы хотите этому помешать.

— Да! — Шварц благодарно посмотрел на меня. — Вы говорили, что только со смертью память

каменеет. Я умру.

— Я наговорил чепухи, — устало возразил я. Терпеть не могу такие разговоры. Я знал слишком много невротиков, эмиграция рождала их, как лужайка грибы после дождя.

— Но кончать самоубийством я не стану. — Шварц неожиданно улыбнулся, будто угадал мои мысли. — Жизни сейчас слишком нужны для других целей. Я умру только как Йозеф Шварц. Утром, когда мы попрощаемся, его уже не станет.

Меня пронзила некая мысль и одновременно безумная надежда.

— Что вы собираетесь сделать? — спросил я.

— Исчезнуть.

— Как Йозеф Шварц?

— Да.

— Как имя?

— Как всё, чем был во мне Йозеф Шварц. И как то, чем я был прежде.

— И что вы думаете сделать со своим паспортом?

— Мне он больше не нужен.

— У вас есть другой?

Шварц покачал головой:

— Мне вообще больше не нужен паспорт.

— В нем есть американская виза?

— Да.

— Не продадите его мне? — спросил я, хотя денег у меня не было.

Шварц покачал головой.

— Почему нет?

— Продать не могу, — сказал он. — Я сам получил его в подарок. Но могу подарить вам. Утром. Вам он пригодится?

— Господи! — У меня перехватило дыхание. — Пригодится! Он меня спасет! В моем паспорте нет американской визы и вряд ли я смог бы получить ее раньше завтрашнего вечера.

Шварц меланхолично улыбнулся:

— Как все повторяется! Вы напоминате мне о времени, когда я сидел в комнате умирающего Шварца и думал только о паспорте, который снова сделает меня человеком. Хорошо, я отдам вам свой паспорт. Вам нужно лишь переклеить фотографию. Возраст примерно тот же.

— Тридцать пять, — сказал я.

— Станете на год старше. У вас найдется человек, который умеет работать с паспортами?

— Я знаю тут одного, — ответил я. — Фотографию заменить несложно.

Шварц кивнул:

— Легче, чем сменить личность. — Некоторое

время он смотрел в пространство перед собой. — Не странно ли, если вы теперь тоже полюбите картины? Как покойный Шварц… а потом я?

Против воли я слегка похолодел.

— Паспорт — всего лишь бумага, — сказал я. — Никакой магии.

— Нет? — спросил Шварц.

— Есть немного, — ответил я. — Но не так. Как долго вы пробыли в Париже?

Я так разволновался из-за Шварцева обещания отдать мне паспорт, что не услышал, что́ он сказал. Думал только о том, как бы получить визу и для Рут. Может, сумею выдать ее в консульстве за свою сестру. Едва ли от этого будет толк, ведь американские консульства очень въедливы, но без попытки не обойтись, если не случится второго чуда. И тут я вдруг услышал, как Шварц сказал:

— Он вдруг возник на пороге нашей парижской комнаты. Полтора месяца потратил, но разыскал нас. На сей раз не мобилизовал сотрудника германского консульства, явился сам и стоял перед нами в маленьком гостиничном номере с репродукциями амурных рисунков восемнадцатого века на стене, Георг Юргенс, обер-штурмбаннфюрер, брат Хелен, большой, широкий, две сотни фунтов весу и втрое больший германец, чем в

Оснабрюке, хоть сейчас и в штатском. Стоял и смотрел на нас.

«Стало быть, сплошное вранье, — сказал он. — Я так и думал, что-то здесь чертовски нечисто!»

«А что вас удивляет? — отозвался я. — Куда вы ни явитесь, всюду нечисто. Вонь и грязища! Из-за вашего появления».

Хелен рассмеялась.

«Прекрати смеяться!» — рявкнул Георг.

«А вы не орите! — сказал я. — Или вас отсюда вышвырнут!»

«Почему бы вам самому не попробовать?»

Я покачал головой: «По-прежнему изображаете героя, когда опасности нет? Вы фунтов на сорок тяжелее меня. Ни один арбитр не позволил бы нам боксировать друг с другом. Что вам здесь нужно?»

«Вас, изменника родины, это не касается. Выйдите вон! Я хочу поговорить с сестрой!»

«Останься! — сказала мне Хелен. Она пылала гневом. Медленно встала, взяла в руки мраморную пепельницу. — Еще одна подобная фраза, и эта штуковина полетит тебе в физиономию, — очень спокойно сказала она Георгу. — Ты не в Германии».

«К сожалению, пока нет! Но погодите, скоро

здесь будет Германия!»

«Здесь никогда не будет Германии, — сказала Хелен. — Возможно, вы, солдатня, на время захватите этот город, но он останется Францией. Ты явился спорить об этом?»

«Я приехал забрать тебя домой. Неужели ты не понимаешь, что с тобой случится, если война застанет тебя здесь?»

«Ничего особенного не случится».

«Тебя посадят в тюрьму».

Я увидел, что на миг Хелен растерялась.

«Возможно, нас посадят в лагерь, — сказал я. — Но это будет лагерь для интернированных, а не концентрационный, как в Германии».

«Много вы знаете!» — выкрикнул Георг.

«Достаточно, — сказал я. — Я побывал в одном из ваших… при вашем содействии».

«Вы, червяк, были в воспитательном лагере, — презрительно бросил Георг. — Но бесполезно. Как только вас выпустили, вы дезертировали».

«Завидую вашему лексикону, — сказал я. — Если кто-то от вас убегает, вы сразу объявляете его дезертиром».

«А как иначе? У вас был приказ не покидать Германию!»

Я отмахнулся. У меня было достаточно подоб-

ных разговоров с Георгом, еще до того, как он получил власть засадить меня за это в лагерь.

«Георг всегда был идиотом, — сказала Хелен. — Мускулистый слабак. Ему, как толстухе корсет, необходимо бронированное мировоззрение, ведь иначе он расползется. Не спорь с ним. Он бесится, оттого что слаб».

«Прекрати! — сказал Георг более мирным тоном, чем я ожидал. — Собери вещи, Хелен. Положение серьезное. Сегодня вечером мы уезжаем».

«Насколько серьезно положение?»

«Будет война. Иначе бы я не приехал».

«Все равно бы приехал, — сказала Хелен. — Как два года назад в Швейцарию, когда я не хотела возвращаться. Тебе некстати, что сестра столь преданного партийца не желает жить в Германии. Тогда ты сумел меня вернуть. Сейчас я останусь здесь и не хочу больше говорить об этом».

Георг неотрывно смотрел на нее. «Из-за этого жалкого негодяя? Он опять тебя уболтал?»

Хелен рассмеялась: «Негодяй… как давно я не слыхала этого слова. У вас и правда допотопный лексикон! Нет, этот негодяй, мой муж, меня не убалтывал. Мало того, даже делал все, чтобы ото-

слать меня назад. По более серьезным причинам, нежели ты!»

«Я хочу поговорить с тобой наедине», — сказал Георг.

«Толку не будет».

«Мы же брат и сестра».

«Я замужем».

«Это не кровные узы, — возразил Георг. — Ты даже сесть мне не предложила, — добавил он вдруг с ребячливой обидой. — Проделываешь долгий путь из Оснабрюка и так и стоишь на пороге».

Хелен опять рассмеялась: «Это не моя комната. За нее платит муж».

«Садитесь, обер-штурмбаннфюрер и прихвостень Гитлера, — сказал я. — И поскорее уходите отсюда».

Георг злобно посмотрел на меня и плюхнулся на ветхий диван. «Я хочу поговорить с сестрой наедине, неужели непонятно?»

«Вы позволяли мне поговорить с нею наедине, когда арестовали?» — в свою очередь, спросил я.

«Это совсем другое дело», — буркнул Георг.

«Для Георга и его партийцев всегда другое дело, когда они делают то же, что и другие, — саркастически заметила Хелен. — Когда сажают в тюрьму

или убивают людей, думающих иначе, чем они, они тем самым защищают свободу Германии; когда отправили тебя в концлагерь, они защищали поруганную честь своего отечества… не так ли, Георг?»

«Именно так!»

«Вдобавок он всегда прав, — продолжала Хелен. — Никогда не сомневается и не испытывает угрызений совести. И всегда стоит на правильной стороне, на стороне власти. Он такой же, как его фюрер, — самый миролюбивый человек на свете, если только другие поступают так, как *он* считает правильным. Спокойствие нарушают всегда другие. Верно, Георг?»

«Мы-то тут при чем?»

«Ни при чем, — сказала Хелен. — И при всем. Неужели ты не понимаешь, как ты здесь смешон, ты, столп несговорчивости в этом терпимом городе? Даже в штатском ты все еще в сапогах, чтобы растаптывать других. Но здесь у тебя нет власти, пока что нет! Здесь ты не можешь записать меня в свой воняющий потом, колченогий партийный «Фрауэншафт»! Здесь ты не можешь следить за мной, как за пленницей! Здесь я могу дышать и хочу дышать!»

«У тебя немецкий паспорт! Будет война. Тебя

посадят за решетку».

«Пока нет! И лучше уж здесь, чем у вас! Вам ведь тоже придется засадить меня за решетку! Я же не стану ходить как немая, вновь вдохнув здесь сладкий воздух свободы и сбежав от вас, от ваших казарм, инкубаториев и бесконечной шумихи!»

Я встал. Не хотел, чтобы она раскрывала себя перед этим неотесанным нацистом, который никогда ее не понимал. «Это он виноват! — выкрикнул Георг, — космополит окаянный! Он тебя испортил! Погоди, парень, мы еще с тобой поквитаемся!»

Он тоже встал. Ему бы ничего не стоило сбить меня с ног. Он был значительно сильнее, а моя правая рука плохо двигалась в локте после национального воспитания в концлагере. «Не трогай его!» — очень тихо сказала Хелен.

«Ты должна защищать этого труса? — спросил Георг. — Он сам не в состоянии?»

Шварц повернулся ко мне:

— Странное дело с этим физическим превосходством. Ведь ничего примитивнее просто быть не может, и ничего общего с мужеством и мужественностью оно не имеет. Револьвер в руках калеки может его уничтожить. Это ведь всего лишь фунты и мускулы, и только… но тем

не менее, столкнувшись с их жестокостью, испытываешь унижение. Каждому известно, что подлинное мужество начинается не здесь и что вызывающе наглая гора мускулов может самым жалким образом спасовать… и все же мы ищем неловкие объяснения и ненужные оправдания и ужасно себя чувствуем, не желая, чтобы нас избили до смерти. Разве не так?

— Бессмысленно, но оттого особенно обидно, — кивнул я.

— Я бы отбился, — сказал Шварц. — Конечно же, отбился!

Я поднял руку.

— Господин Шварц, зачем? Мне объяснений не требуется.

Он слабо улыбнулся:

— Верно. Видите, насколько глубоко это сидит, раз я даже сейчас пытаюсь объяснять? Как рыболовный крючок в плоти. Когда же кончается мужское тщеславие?

— Что случилось дальше? — спросил я. — До драки дошло?

— Нет. Хелен неожиданно расхохоталась. «Ты посмотри на этого дурня! — сказала она мне. — Он воображает, что, если поколотит тебя, я так разочаруюсь в твоей мужественности, что покор-

но вернусь с ним в страну однобокого кулачного права. — Она повернулась к Георгу. — Ты, с твоей болтовней о мужестве и трусости! Вот у него… — она указала на меня, — мужества куда больше, чем ты способен себе представить! Он приехал за мной. Ради меня вернулся и увез меня с собой».

«Что? — Георг вылупил на меня глаза. — В Германию?»

Хелен опомнилась. «Какая разница. Я здесь и никуда отсюда не поеду».

«Вернулся? За тобой? — переспросил Георг. — Кто ему помогал?»

«Никто, — ответила Хелен. — У тебя небось руки чешутся по-быстрому арестовать кого-нибудь?»

Никогда я не видел ее такой. Она была настолько переполнена сопротивлением, отвращением, ненавистью и жарким триумфом спасения, что вся дрожала. Меня обуревали сходные чувства, но неожиданно ослепительной молнией мелькнула и иная мысль — о мести. Здесь Георг не имел власти! Не мог свистнуть своему гестапо. Был один.

Эта мысль повергла меня в такое смятение, что я не знал, что мне сейчас делать. Драться я не мог и не хотел, но очень хотел истребить эту тварь передо мною. Навсегда стереть с лица земли. Чтобы истребить воплощение зла, приговора не

требуется, — вот так для меня обстояло с Георгом. Уничтожить его — не просто месть, но еще и спасение десятков неведомых будущих жертв. Не задумываясь, я шагнул к двери. Удивился, что меня не шатает. Надо побыть одному. Надо подумать. Хелен пристально смотрела на меня. Не говоря ни слова. Георг смерил меня презрительным взглядом и опять сел. «Наконец-то!» — буркнул он, когда дверь за мной закрылась.

Я спускался по лестнице. Пахло обедом, рыбой. На площадке стоял итальянский сундук. Сколько раз я проходил мимо него, не замечая. Теперь же внимательно присмотрелся к резьбе, словно вздумал купить его. Как лунатик, пошел дальше. На третьем этаже одна из дверей была открыта. Комната покрашена в светло-зеленый, окна распахнуты, горничная переворачивала матрас. Странно, чего только не видишь, полагая, что от волнения не видишь ничего!

Я постучал к знакомому, жившему на втором этаже. Звали его Фишер, и как-то раз он показывал мне револьвер, которым обзавелся, чтобы мало-мальски примириться со своим существованием. Оружие дарило ему иллюзию, будто он добровольно ведет скудную и унылую жизнь эмигранта, поскольку может когда угодно ее

оборвать.

Фишера я не застал, но комнату он не запер. Ему было нечего скрывать. Я вошел, хотел подождать его. Вообще-то сам толком не знал, что мне вправду нужно, хотя и понимал, что должен позаимствовать у него револьвер. Убивать Георга в гостинице бессмысленно, это ясно; я бы навлек опасность на Хелен, на себя и на других здешних эмигрантов. Я сел на стул, попробовал успокоиться. Безуспешно. Сидел и смотрел в пространство перед собой.

Как вдруг запела канарейка. В проволочной клетке между окнами. Раньше я ее не замечал и потому испугался, будто меня кто ударил. И сразу после этого вошла Хелен.

«Что ты здесь делаешь?» — спросила она.

«Ничего. Где Георг?»

«Ушел».

Я не знал, как долго пробыл в комнате Фишера. Мне казалось, совсем недолго. «Он вернется?» — спросил я.

«Не знаю. Он упрямый. Почему ты ушел? Чтобы оставить нас одних?»

«Нет, — ответил я. — Не поэтому, Хелен. Мне просто вдруг стало невмоготу видеть его».

Она стояла в дверях, смотрела на меня: «Ты

меня ненавидишь?»

«Я? Тебя? — Я был изумлен до глубины души. — Почему?»

«Я вдруг подумала, когда Георг ушел. Если б ты не женился на мне, с тобой ничего бы не случилось».

«Все равно бы случилось. Возможно, и кое-что похуже. Не исключено, что Георг на свой лад отнесся ко мне даже мягче, из-за тебя. Меня не погнали на электрическую колючую проволоку, не подвесили на мясницкий крюк… Ненавидеть тебя! Как тебе такое в голову пришло!»

Внезапно я опять увидел за фишеровскими окнами зеленое лето. Номер выходил на задний двор, где рос огромный каштан, сквозь листву которого светило солнце. Спазм в затылке отпустил, как похмелье под вечер. Я вновь стал самим собой. Знал, какой сегодня день недели, и что на улице лето, и что я в Париже, и что людей не стреляют как зайцев. «Я бы скорее подумал, что ты меня возненавидишь, — сказал я. — Или запрезираешь».

«Я?»

«Да. Потому что я не могу держать твоего брата от нас подальше. Потому что я…»

Я замолчал. Недавние минуты вдруг показались

страшно далекими. «Что мы здесь делаем? — сказал я. — В этой комнате?»

Мы поднялись вверх по лестнице. «Все, что говорил Георг, чистая правда, — сказал я. — Ты должна знать! Когда начнется война, мы станем гражданами враждебного государства, ты даже больше, чем я».

Хелен открыла окна и дверь. «Пахнет солдатскими сапожищами и террором, — сказала она. — Впустим сюда август! Оставим окна нараспашку и уйдем. Кажется, пора обедать?»

«Да. И пора уезжать из Парижа».

«Почему?»

«Георг попытается донести на меня».

«До этого он не додумается. Он не знает, что ты живешь под чужим именем».

«Додумается. И придет снова».

«Вероятно. Я выставлю его за дверь. Пойдем на улицу».

Мы пошли в ресторанчик за Дворцом юстиции и пообедали за уличным столиком. Заказали pâté maison, boeuf à la mode[8], салат и камамбер. Запивали игристым «Вувре», а потом угощались кофе. Я помню все подробности, даже хлеб с

[8] Примечания: 8
Домашний пирог, говядина особая (*фр.*).

хрустящей золотистой корочкой и оббитые кофейные чашки; в тот полдень я был совершенно без сил от глубокой, безымянной благодарности. Мне казалось, я выбрался из темной грязной канализации, куда даже заглянуть теперь робел, потому что, сам того не сознавая, был частью этой грязи. Я уберегся, сидел за столиком, покрытым красно-белой клетчатой скатертью, и чувствовал себя очищенным и спасенным, солнце бросало сквозь вино желтые отблески, воробьи галдели над кучей конского навоза, сытая хозяйская кошка равнодушно наблюдала за ними, легкий ветерок гулял по тихой площади, и жизнь опять была такой прекрасной, какой бывает лишь в наших мечтах.

Позднее мы шли окруженные медовым солнечным парижским днем и остановились у витрины дамской портнихи. Мы уже не раз здесь останавливались. «Тебе нужно новое платье», — сказал я.

«Сейчас? — спросила Хелен. — Когда вот-вот грянет война? Не слишком ли сумасбродно?»

«Именно сейчас. И именно потому, что сумасбродно».

Она поцеловала меня: «Ну хорошо!»

Я спокойно сидел в кресле у входа в заднюю

комнату, где происходила примерка. Портниха подносила платья, и вскоре Хелен так увлеклась, что почти забыла обо мне. Я слышал голоса обеих женщин, видел, как мимо стеклянного оконца в двери мелькают платья, а порой обнаженная загорелая спина Хелен, и мною овладела мягкая усталость, в которой было что-то от безболезненного умирания, но умирания неосознанного.

Я понимал, с легким стыдом, почему мне захотелось купить платье. То был бунт против нынешнего дня, против Георга, против моей беспомощности — очередная ребячливая попытка еще более ребячливого оправдания.

Очнулся я, когда передо мной вдруг выросла Хелен в платье с широченной пестрой юбкой и черным, коротким, облегающим лифом. «То, что надо! — заявил я. — Берем».

«Это очень дорого», — сказала Хелен.

Портниха уверяла, что фасон разработан крупным модным домом — очаровательная ложь, — но в итоге мы договорились и сразу же забрали платье. Приятно купить что-то, что тебе не по карману, подумал я. Связанное с этим легкомыслие изгнало последнюю тень Георга. Хелен была в этом платье вечером и ночью, когда мы еще раз встали и, сидя на подоконнике, глядели

на город в лунном свете и не могли наглядеться, скупились на сон, зная, что все это продлится уже недолго.

11

— Что остается? — сказал Шварц. — Уже сейчас все съеживается, как рубашка, из которой выполоскали весь крахмал. Перспективы времени больше нет, картина стала плоской, освещенной переменчивыми огнями. Да и не картина больше — текучее воспоминание, из которого всплывают разрозненные образы — гостиничное окно, обнаженное плечо, произнесенные шепотом слова, призрачно живущие дальше, свет над зелеными крышами, ночной запах воды, луна на сером камне собора, беззаветное лицо, потом оно же, но другое, в Провансе и в Пиренеях, потом застывшее, последнее, которого ты никогда не знал и которое вдруг норовит вытеснить остальные, будто все прежнее было лишь заблуждением.

Шварц поднял голову. На лице его вновь возникло выражение муки, в которое он пытался силком втиснуть улыбку.

— Оно уже только здесь, — сказал он, показывая на свою голову. — И даже здесь под угрозой, как платье в шкафу, полном моли. Потому я вам и рассказываю. Впредь вы будете хранить его, и

у вас оно вне опасности. Ваша память не попытается, как моя, стереть его, чтобы спасти вас. У меня оно в плохих руках, уже сейчас последнее застывшее лицо, точно раковая опухоль, расползается поверх других, более ранних… — Его голос стал громче: — А ведь другие существовали, *они* были нами, а не это незнакомое, страшное, последнее…

— Вы еще задержались в Париже? — спросил я.

— Георг приходил снова, — сказал Шварц. — Пытался разжалобить, угрожал. Явился в мое отсутствие. Я увидел его, только когда он вышел из гостиницы. Остановился передо мной, очень тихо сказал: «Мерзавец! Ты губишь мою сестру! Но погоди! Скоро мы до тебя доберемся! Через неделю-другую вы оба будете в наших руках! А тогда, мальчик мой, я лично тобой займусь! На коленях будешь передо мной ползать и умолять покончить с тобой… если у тебя еще останется голос!»

«Могу себе представить», — ответил я.

«Ничего ты не можешь себе представить! Иначе убрался бы куда подальше. Даю тебе еще один шанс. Если через три дня сестра вернется в Оснабрюк, я кое-что забуду. Через три дня! Понял?»

«Вас понять несложно».

«Да? Тогда запомни, моя сестра должна вернуться! Ты же все знаешь, мерзавец! Или станешь утверждать, будто не знаешь, что она больна? Даже не пытайся!»

Я неотрывно смотрел на него. Не знал, придумал ли он это сейчас или Хелен именно это рассказала ему, чтобы уехать в Швейцарию. «Нет, — сказал я. — Я не знаю!»

«Не знаешь? Ишь ты! Неприятно, а? Ей надо к врачу, лгун! Немедля! Напиши Мартенсу и спроси его. Он-то знает!»

Я видел, как две темные фигуры средь бела дня вошли в открытое парадное. «Через три дня, — прошипел Георг. — Или ты выблюешь свою проклятую душу по кусочкам! Скоро я опять буду здесь! В форме!»

Он протиснулся между мужчинами, стоявшими теперь в вестибюле, и вышел вон. Те двое, обойдя меня, стали подниматься вверх по лестнице. Я зашагал следом. Хелен стояла в комнате у окна. «Ты встретил его?» — спросила она.

«Да. Он сказал, ты больна и должна вернуться!»

Она покачала головой. «Чего он только не напридумывает!»

«Ты больна?» — спросил я.

«Чепуха! Я все это выдумала, чтобы уехать».

«Он сказал, Мартенс тоже об этом знает».

Хелен засмеялась: «Конечно, знает. Разве ты не помнишь? Он же писал мне в Аскону. Мы с ним обо всем договорились».

«Значит, ты не больна, Хелен?»

«Я выгляжу больной?»

«Нет, но это ничего не значит. Ты не больна?»

«Нет, — нетерпеливо ответила она. — Больше Георг ничего не говорил?»

«Как обычно. Угрожал. Чего он хотел от тебя?»

«Того же. Не думаю, что он явится еще раз».

«Зачем он вообще приходил?»

Хелен улыбнулась. Странной улыбкой. «Он думает, я его собственность. И должна делать, как он хочет. Он всегда был таким. Еще в детстве. Братья часто бывают такими. Думает, что действует в интересах семьи. Ненавижу его».

«Поэтому?»

«Ненавижу. Этого достаточно. Так я ему и сказала. Но война будет. Он знает».

Мы замолчали. Шум автомобилей на набережной Гран-Огюстен, казалось, стал громче. За Консьержери в ясное небо вонзался шпиль Сент-Шапель. Доносились крики газетчиков. Они перекрывали рев моторов, как крики чаек

шум моря.

«Я не смогу защитить тебя», — сказал я.

«Знаю».

«Тебя интернируют».

«А тебя?»

Я пожал плечами. «Вероятно, и меня тоже. Возможно, нас разлучат».

Она кивнула.

«Французские тюрьмы не санатории».

«Немецкие тоже».

«В Германии тебя не посадят».

Хелен мгновенно встрепенулась. «Я останусь здесь! Ты исполнил свой долг, предупредил меня. Не думай об этом больше. Я остаюсь. И ты тут ни при чем. Назад я не поеду».

Я смотрел на нее.

«К черту безопасность! — сказала она. — И к черту осторожность! Я долго ими пользовалась».

Я обнял ее за плечи. «Так только говорить легко, Хелен…»

Она оттолкнула меня и неожиданно выкрикнула: «Тогда уходи! Уходи, тогда ты ни за что не отвечаешь! Оставь меня одну! Уходи! Я и одна справлюсь! — Она смотрела на меня так, будто я Георг. — Не будь наседкой! Много ли ты знаешь? Не души меня своей заботой, страхом и

ответственностью! Я уехала не ради тебя. Пойми, наконец! Не ради тебя! Ради себя самой!»

«Я понимаю».

Она снова подошла ко мне, тихо проговорила: «Ты должен поверить. Даже если с виду все иначе! Я хотела уехать! Твой приезд был случайностью. Пойми, наконец! Безопасность не всегда самое главное».

«Это правда, — ответил я. — Но к ней стремишься, если любишь кого-то. Для другого».

«Безопасности не существует. Не существует, — повторила она. — Молчи. Я знаю! Лучше, чем ты! Я все это обдумала. Господи, как же долго я все это обдумывала! И не будем больше говорить об этом, любимый! За окном вечер, он ждет нас. Их в Париже у нас осталось не так много».

«А ты не можешь уехать в Швейцарию, раз не хочешь возвращаться?»

«Георг утверждает, что нацисты в два счета займут Швейцарию, как Бельгию в первой войне».

«Георг знает не все».

«Давай еще побудем здесь. Может, он вообще врал. Откуда ему так точно известно, что́ будет? Ведь один раз уже казалось, что война неизбежна. А потом случился Мюнхен. Почему бы не случиться второму Мюнхену?»

Я не знал, верила ли она тому, что говорила, или просто хотела отвлечь меня. Человек так легковерен, когда любит; вот и я был таким в тот вечер. Как Франция может вступить в войну? Она не готова. Наверняка уступит. С какой стати ей воевать за Польшу? За Чехословакию-то она воевать не стала.

Через десять дней границы закрыли. Началась война.

— Вас сразу же арестовали, господин Шварц? — спросил я.

— Нам дали неделю. Покидать город было запрещено. Странная ирония: пять лет меня выдворяли, а теперь вдруг решили не выпускать. А где были вы?

— В Париже, — ответил я.

— Вас тоже держали на Велодроме?

— Конечно.

— Я не припоминаю вашего лица.

— На Велодроме были толпы эмигрантов, господин Шварц.

— Вы помните последние дни перед войной, когда Париж затемнили?

— О да! Казалось, затемнили весь мир.

— Разрешены были только маленькие синие лампочки, — сказал Шварц. — Ночами они

горели на углах, словно освещенные плошки туберкулезников. Город стал не просто темным, он заболел в этой холодной синей тьме, в которой было зябко, хотя стояло лето. В те дни я продал один из рисунков, унаследованных от покойного Шварца. Хотел, чтобы у нас было побольше наличных. Время для продажи неудачное. Торговец, к которому я пошел, предложил очень мало. Я отказался, забрал рисунок. И в конце концов продал богатому эмигранту-киношнику, который считал, что вещи надежнее денег. Последний рисунок я оставил на хранение у хозяина гостиницы. Потом, под вечер, за мной явилась полиция. Двое. Сказали, чтобы я попрощался с Хелен. Она стояла передо мной, бледная, с блестящими глазами. «Это невозможно», — сказала она.

«Нет, возможно, — возразил я. — Позднее они придут и за тобой. Паспорта лучше не выбрасывать, а сохранить. Тебе тоже».

«В самом деле, так лучше», — сказал один из полицейских на хорошем немецком.

«Спасибо, — поблагодарил я. — Мы можем попрощаться наедине?»

Полицейский взглянул на дверь.

«Если бы я хотел сбежать, то давным-давно бы мог это сделать», — сказал я.

Он кивнул. Мы с Хелен пошли в ее комнату. «Когда все происходит на самом деле, то совершенно не так, как когда раньше рассуждал об этом, верно?» — сказал я и обнял ее.

Она высвободилась. «Как с тобой связаться?»

Мы говорили обычные вещи. Адресов у нас было два: гостиница и один француз. Полицейский постучал в дверь. Я открыл. «Возьмите с собой одеяло, — сказал он. — Все только на один-два дня. Но на всякий случай возьмите одеяло и немного еды».

«У меня нет одеяла».

«Я тебе принесу, — сказала Хелен. Она быстро запаковала съестное. — Только на один-два дня?» — спросила она.

«Максимум, — сказал полицейский. — Установление личности и все такое. C'est la guerre, Madame[9]».

Эти слова мы слышали еще не раз.

Шварц достал из кармана сигару, раскурил.

— Вы и сами знаете — ожидание в полицейском участке, приезд других эмигрантов, пойманных, будто они опасные нацисты, поездка в зарешеченных автомобилях в префектуру и бесконечное

---

[9] Примечания: 9
Война, мадам (*фр.*).

ожидание в префектуре. Вы и в Salle Lepine[10] тоже были?

Я кивнул. Salle Lepine — это просторное помещение в префектуре, где полицейским обычно демонстрировали учебные фильмы. Там было несколько сотен стульев и киноэкран.

— Я провел там два дня, — сказал я. — На ночь нас отводили в большой угольный подвал, где стояли лавки для сна. Утром мы выглядели как трубочисты.

— Мы весь день сидели на стульях, — сказал Шварц. — Грязные. Вскоре все и правда выглядели как преступники, каковыми нас и считали. Георг запоздало и нечаянно отомстил, наш адрес он узнал тогда в префектуре. Кто-то провел для него разыскания. Георг не скрывал своей партийной принадлежности, и из-за этого меня как нацистского шпиона теперь по четыре раза в день допрашивали о моих дружеских связях с Георгом и с Национал-социалистской партией. Поначалу я смеялся, слишком это было абсурдно. Но потом заметил, что и абсурдное может стать опасным. Доказательством тому существование партии в Германии… теперь же, казалось, и Фран-

---

[10] Примечания: 10
Зал Лепина (*фр.*).

ция, страна рассудка, под совокупным напором бюрократии и войны уже не была от этого застрахована. Георг, сам о том не подозревая, заложил бомбу с часовым механизмом; считаться в войну шпионом — это не шутка.

Каждый день доставляли новые группы запуганных людей. С объявления войны на фронте пока никого не убили — la drôle de guerre[11], как назвали это время острословы, — но надо всем уже нависала мрачная атмосфера сниженного уважения к жизни и индивидуальности, какие война, словно чуму, приносит с собой. Люди уже не были людьми, их классифицировали по военным критериям как солдат, пригодных к службе, непригодных к службе и врагов.

На третий день я сидел в Salle Lepine совершенно без сил. Часть наших товарищей по несчастью увели. Остальные шепотом переговаривались, спали, ели; наше существование уже свелось к минимуму. Это не мешало; по сравнению с немецким концлагерем обстановка вполне комфортабельная. Мы получали разве что пинки да тычки, когда недостаточно быстро выходили из строя; власть есть власть, а полицейский в любой

---

[11] Примечания: 11
Странная война (*фр.*).

стране на свете есть полицейский.

От допросов я очень устал. На возвышении под экраном сидели в ряд, одетые в форму, расставив ноги, вооруженные, наши охранники. Полутемный зал, грязный, пустой экран и мы внизу — безнадежный символ жизни, где ты всего лишь пленник или охранник и где разве что от тебя самого зависело, какой фильм увидишь на пустом экране — учебный, комедию или трагедию. Ведь в итоге снова и снова оставались только пустой экран, голодное сердце и тупая власть, которая действовала так, будто была вечной и воплощала право, тогда как все экраны давным-давно опустели. Так будет всегда, думал я, ничего не изменится, и когда-нибудь ты исчезнешь, а никто и не заметит. Вам тоже знакомы такие минуты… когда гаснет надежда.

Я кивнул:

— Час тихих самоубийств. Уже не защищаешься и почти случайно и бездумно делаешь последний шаг.

— Дверь открылась, — продолжал Шварц, — и вместе с желтым светом из коридора появилась Хелен. С корзиной, несколькими одеялами и леопардовой шубкой на руке. Я узнал ее по манере держать голову и по походке. На миг она оста-

новилась, потом, вглядываясь, стала обходить ряды. Прошла совсем близко от меня и не увидела. Почти как тогда, в оснабрюкском соборе. «Хелен!» — окликнул я.

Она обернулась. Я встал. Она взглянула на меня, со злостью спросила: «Что они с вами сделали?»

«Ничего особенного. Мы ночуем в угольном подвале, потому так и выглядим. Ты-то как сюда попала?»

«Меня арестовали, — чуть ли не с гордостью сказала она. — Как и тебя. И гораздо раньше остальных женщин. Я надеялась найти тебя здесь».

«Почему тебя арестовали?»

«А тебя почему?»

«Меня считают шпионом».

«Меня тоже. Причина — мой действительный паспорт».

«Откуда ты знаешь?»

«Меня сразу же допросили и сообщили об этом. Я не настоящая эмигрантка. Эмигрантки пока что на свободе. Маленький господинчик с напомаженными волосами, пахнущий эскарго[12], просветил меня. Он и тебя тоже допрашивает?»

---

[12] Примечания: 12
Традиционное французское блюдо из улиток.

«Не знаю. Здесь все пахнет эскарго. Слава богу, ты принесла одеяла».

«Захватила, что могла. — Хелен открыла корзинку. Звякнули две бутылки. — Коньяк, — сказала она. — Не вино. Я постаралась прихватить самое необходимое. Вас тут кормят?»

«Кое-как. Можно послать за бутербродами».

Хелен наклонилась ближе, посмотрела на меня. «Вы тут все как сборище негров. Умыться здесь нельзя?»

«До сих пор не разрешали. Не от злости. По халатности».

Она достала коньяк: «Уже откупорен. Последняя любезность хозяина гостиницы. Он полагал, что штопора здесь не найти. Пей!»

Я отпил большой глоток и отдал ей бутылку.

«У меня даже стакан есть, — сказала она. — Не будем отказываться от цивилизации, пока возможно».

Она налила стакан, выпила. «Ты пахнешь летом и свободой, — сказал я. — Как там, снаружи?»

«Как в мирное время. Кафе полнехоньки. Небо синее. — Она посмотрела на ряд полицейских на возвышении и засмеялась. — Прямо как в тире. Словно можно стрелять по этим фигурам наверху, а когда они упадут, получить в качестве приза

бутылку вина или пепельницу».

«У этих фигур есть оружие».

Хелен достала из корзинки пирог. «От хозяина, — сказала она. — С множеством приветов и словами: «La guerre, merde!»[13] Пирог с птицей. Я прихватила также вилки и нож. Еще раз: да здравствует цивилизация!»

Я вдруг развеселился. Хелен была здесь, ничего не потеряно. Война покуда не началась, и, быть может, нас и правда отпустят.

Следующим вечером мы узнали, что нас разлучат. Меня отправят в сборный лагерь в Коломбе, Хелен — в тюрьму «Ла птит рокет». Даже если поверят, что мы женаты, толку не будет. Супружеские пары тоже разлучали.

Ночь мы просидели в подвале. Сердобольный охранник разрешил. Кто-то принес несколько свечей. Часть арестантов уже увезли, нас осталось человек сто. В том числе испанские эмигранты. Их тоже арестовали. Рвение, с каким в антифашистской стране хватали антифашистов, было не лишено иронии; впору подумать, будто мы в Германии.

«Зачем они нас разлучают?» — спросила Хе-

---

[13] Примечания: 13
Война, черт бы ее побрал! (*фр.*)

лен.

«Не знаю. По глупости, не по жестокости».

«Находись мужчины и женщины в одном лагере, только и знай ревновали бы да скандалили, — назидательно заметил маленький старый испанец. — Потому вас и разлучают. C'est la guerre!»

Хелен в своей леопардовой шубке спала рядом со мной. В подвале было несколько удобных мягких лавок, но их освободили для четырех-пяти старушек, которых на эту ночь тоже устроили тут. Одна из них предложила Хелен поспать на лавке с трех до пяти утра, Хелен отказалась. «Позднее у меня будет достаточно времени, чтобы спать в одиночестве», — сказала она.

Странная выдалась ночь. Голоса мало-помалу стихли. Плач старушек умолк, только изредка, проснувшись, они снова рыдали, а затем снова кутались в сон, как в черную душную шерсть. Свечи одна за другой погасли. Хелен спала у меня на плече. Во сне она обняла меня, а просыпаясь, нашептывала мне то слова ребенка, то слова возлюбленной, — слова, каких днем не говорят, а в обычной жизни даже ночью говорят редко; то были слова беды и прощания, слова тела, которое не хочет разлуки, слова кожи, крови и жалобы,

древнейшей жалобы на свете: что нельзя остаться вместе, что один всегда должен уйти первым и что смерть каждую секунду теребит нашу руку, чтобы мы не останавливались, а мы-то устали и хотя бы на часок мечтали предаться иллюзии вечности. Потом она потихоньку соскользнула мне на колени. Я держал в ладонях ее голову и при свете последней свечи смотрел, как она дышит. Слышал, как мужчины вставали и шли за угольные кучи осторожно помочиться. Слабый огонек трепетал, и огромные тени метались вокруг, словно мы находились в призрачных джунглях и Хелен была беглым леопардом, которого колдуны искали с помощью своих заклинаний. Но вот и последний огонек погас, осталась лишь душная, храпящая тьма. Руками я чувствовал дыхание Хелен. Один раз она проснулась с коротким резким вскриком. «Я здесь, — прошептал я. — Не бойся. Все по-старому».

Она снова легла, поцеловала мои руки, пробормотала: «Да, ты здесь. Ты должен всегда быть рядом».

«Я всегда буду рядом, — прошептал я в ответ. — И даже если нас ненадолго разлучат, я непременно тебя найду».

«Ты придешь?» — пробормотала она, уже

сквозь сон.

«Всегда буду приходить. Всегда! Где бы ты ни была, я тебя найду. Как нашел последний раз».

«Хорошо», — вздохнула она, повернув лицо так, что оно лежало в моих ладонях будто в чаше. Я сидел без сна. Время от времени чувствовал ее губы на своих пальцах, а однажды мне показалось, я ощутил слезы, но ничего не сказал. Я очень любил ее и думал, что никогда, даже обладая ею, не любил ее больше, чем в эту грязную ночь с ее храпом и странным шипящим звуком, какой производит на угле моча. Я сидел очень тихо, и мое «я» было стерто любовью. Потом настало утро, бледное, раннее, серое, эта серость поглощает все краски, делает зримым скелет под кожей, и мне вдруг почудилось, что Хелен умирает и я должен разбудить ее и удержать. Она проснулась, открыла один глаз и спросила: «Как думаешь, мы сможем организовать горячий кофе и круассаны?»

«Попробую подкупить кого-нибудь из охраны», — сказал я, совершенно счастливый.

Хелен открыла второй глаз, посмотрела на меня.

«Что случилось? — спросила она. — У тебя такой вид, будто мы выиграли большой куш. Нас что, отпускают?»

«Нет, — ответил я. — Просто я отпустил себя на свободу». Она сонно повертела головой в моих ладонях.

«А ты не можешь хоть ненадолго оставить себя в покое?»

«Могу. И даже обязан. Боюсь, даже надолго. У меня не будет возможности самому принимать решения. В некотором смысле это опять-таки утешает».

«Все утешает. — Хелен зевнула. — Пока мы живы, все утешает, неужели ты еще не понял? Думаешь, нас расстреляют как шпионов?»

«Нет. Посадят за решетку».

«А эмигрантов, которых не считают шпионами, тоже посадят?»

«Да. Кого найдут, всех посадят. Мужчин уже забрали».

Хелен приподнялась. «В чем же тогда разница?»

«Может, остальным будет легче выйти на свободу».

«Это пока неизвестно. Может, с нами станут лучше обращаться, как раз потому, что считают нас шпионами».

«Чепуха, Хелен».

Она покачала головой: «Нет, не чепуха. Это

опыт. Разве ты еще не понял, что в нашем столетии невиновность — преступление, которое карается наиболее сурово? Тебе надо угодить за решетку в двух странах, чтобы это уразуметь? Эх ты, мечтатель о справедливости! Коньяк еще есть?»

«Коньяк и пирог».

«Давай то и другое, — сказала Хелен. — Необычный завтрак, но боюсь, впереди у нас еще больше приключений».

«Хорошо, что ты так это воспринимаешь», — сказал я, наливая ей коньяк.

«Это единственный способ восприятия. Или ты намерен умереть от ожесточения и цирроза печени? Если отключить идею справедливости, не так уж трудно рассматривать все как приключение, ты не находишь?»

Чудесный аромат старого коньяка и доброго пирога окружал Хелен как привет золотого бытия. Она ела с огромным наслаждением. «Вот не знал, что для тебя все это окажется так просто», — сказал я.

«Не беспокойся за меня. — Она поискала в корзинке белый хлеб. — Я справлюсь. Женщинам справедливость не так важна, как вам».

«А что вам важно?»

«Вот это. — Она показала на хлеб, бутылку и пирог. — Ешь, любимый! Как-нибудь пробьемся. Через десять лет это станет большим приключением, и вечерами мы будем часто рассказывать о нем гостям, так что им надоест слушать. Лопай, человек с фальшивым именем! То, что съедим сейчас, не придется потом тащить с собой».

— Не хочу рассказывать вам все подробности, — сказал Шварц. — Вы же знаете путь эмигрантов. На стадионе Коломб я провел лишь несколько дней. Хелен попала в «Птит рокет». В последний день на стадион пришел хозяин нашей гостиницы. Я видел его только издалека, нам не разрешалось разговаривать с посетителями. Хозяин оставил маленький пирог и большую бутылку коньяка. В пироге я нашел записку: «Мадам здорова и в хорошем настроении. Не в опасности. Ожидает транспортировки в женский лагерь, который строят в Пиренеях. Письма через гостиницу. Мадам formidable![14]» Там же я нашел крошечную записочку от Хелен: «Не беспокойся. Опасности больше нет. Это по-прежнему приключение. До скорого. С любовью».

Она сумела пробить нерадивую блокаду. Я

---

[14] Примечания: 14
Великолепна (*фр.*).

не мог себе представить как. Позднее она рассказала, что заявила, будто ей надо привезти недостающие документы. Ее послали с полицейским в гостиницу. Она сунула хозяину записку и шепнула ему, как передать ее мне. Полицейский относился к любви с пониманием и закрыл на это глаза. Никаких документов она не привезла, зато привезла духи, коньяк и корзинку съестного. Она любила поесть. Как ей удавалось сохранить при этом стройную фигуру, навсегда осталось для меня загадкой. Когда мы еще были на свободе, я, проснувшись и не найдя ее рядом, мог не раздумывая идти туда, где мы хранили свои припасы: она сидела в лунном свете и с самозабвенной улыбкой грызла ветчинную косточку или уминала вечерний десерт, который приберегла. Запивая все это вином из бутылки. Как кошка, которой по ночам особенно хочется есть. Она рассказывала, что, когда ее арестовали, она уговорила полицейского дождаться, пока хозяин гостиницы допечет пирог, который как раз стоял в духовке. Ее любимый пирог, она хотела взять его с собой. Полицейский поворчал, но сдался, когда она просто наотрез отказалась уходить.

Флики[15] предпочитали не тащить людей в полицейскую машину силком. Хелен не забыла даже прихватить пачку бумажных салфеток.

На следующий день нас отправили в Пиренеи. Началась унылая и волнительная одиссея страха, комизма, бегства, бюрократизма, отчаяния и любви.

[15] Примечания: 15
Флик — бытовое прозвище французских полицейских.

12

— Может статься, когда-нибудь наше время назовут временем иронии, — сказал Шварц. — Разумеется, не остроумной иронии восемнадцатого столетия, а недобровольной и, во всяком случае, злой или глупой иронии нашей неуклюжей эпохи прогресса в технике и регресса в культуре. Гитлер не только кричит об этом на весь свет, он еще и верит, что является апостолом мира и что войну ему навязали другие. Вместе с ним этому верят пятьдесят миллионов немцев. А что они одни много лет кряду вооружались, тогда как никакая другая нация к войне не готовилась, ничего в их позиции не меняет. Поэтому неудивительно, что мы, избежавшие немецких лагерей, теперь угодили во французские. Тут даже возразить особо нечего — у нации, которая сражается за свою жизнь, есть дела поважнее, чем обеспечивать каждому эмигранту полную справедливость. Нас не пытали, не травили газом и не расстреливали, только посадили за решетку, — чего еще мы могли требовать?

— Когда вы снова встретились с женой? — спро-

сил я.

— Много времени спустя. Вы были в Ле-Верне?

— Нет, но знаю, что это один из худших французских лагерей.

Шварц иронически усмехнулся.

— Это как посмотреть. Вы знаете историю о раках, которых бросили в котел с холодной водой, чтобы сварить? Когда вода нагрелась до пятидесяти градусов, они закричали, что это невыносимо, и запричитали, жалея о прекрасном времени, когда ее температура была всего сорок градусов; когда жар достиг шестидесяти градусов, они закричали, как хорошо было при пятидесяти, потом, при семидесяти, — как хорошо было при шестидесяти, и так далее. Ле-Верне был в тысячу раз лучше самого лучшего немецкого концлагеря, точно так же, как концлагерь без газовой камеры лучше того, где она есть, — вот так можно приложить притчу о раках к нашему времени.

Я кивнул:

— Что же с вами произошло?

— Скоро захолодало. У нас, понятно, не хватало одеял и не было угля. Обычная халатность, но, когда мерзнешь, беду выносить труднее. Не хочу утомлять вас описанием зимы в лагере. Ирония тут более чем уместна. Признай мы с Хелен себя

нацистами, нам было бы лучше, мы бы попали в особые лагеря. Пока мы голодали, мерзли, страдали от поноса, я видел в газетах фотографии интернированных немецких пленных, которые не были эмигрантами; они имели ножи и вилки, столы и стулья, кровати, одеяла, даже собственную столовую. Газеты гордились тем, как порядочно французы обращались с врагами. С нами церемониться не стоило, мы были неопасны.

Я привык. Отключил идею справедливости, как посоветовала Хелен. Вечер за вечером после работы сидел в своей части барака. Мне выдали немного соломы, отвели участок метр в ширину на два в длину, и я упорно старался рассматривать это время как переходный период, не имеющий касательства к моему «я». Происходили разные события, и я должен был реагировать на них как изворотливый зверь. Несчастье может убить точно так же, как дизентерия, а справедливость — роскошь, уместная в спокойные времена.

— Вы действительно в это верили? — спросил я.

— Нет, — ответил Шварц. — Приходилось ежечасно вдалбливать себе это заново. Небольшая несправедливость, которую труднее всего от себя скрыть. Не большая. Приходилось снова и

снова преодолевать будничные мелочи вроде уменьшенной порции хлеба, более тяжелой работы, чтобы, злясь на них, не потерять из виду большую.

— Стало быть, вы жили как изворотливый зверь?

— Так я жил, пока не пришло первое письмо от Хелен, — сказал Шварц. — Оно пришло спустя два месяца через хозяина нашей парижской гостиницы. Мне показалось, будто в душной темной комнате распахнули окно. Жизнь, правда, по другую его сторону, но снова здесь. Письма приходили нерегулярно, иногда неделями не было ни одного. Странно, как они меняли и подтверждали образ Хелен. Она писала, что у нее все хорошо, что ее наконец-то определили в лагерь и она там работает, сперва на кухне, потом в столовой. Дважды она сумела переправить мне посылку с продуктами — как и какими уловками и подкупом, я не знаю. Одновременно из писем стало смотреть на меня другое лицо. В какой мере виной тому ее отсутствие, мои собственные желания и обманчивое воображение, я не знаю. Вам ведь известно, как все вырастает почти до нереальных размеров, когда сидишь в плену и не имеешь ничего, кроме нескольких писем. Неча-

янная фраза, не значащая ничего, если написана в других обстоятельствах, может стать молнией, разрушающей твое существование, и точно так же какая-нибудь другая может неделями дарить тепло, хотя столь же нечаянна, как и первая. Месяцами размышляешь о вещах, о которых другой, заклеивая письмо, уже успел забыть. В один прекрасный день пришла и фотография; Хелен стояла возле своего барака с какой-то женщиной и с мужчиной. Она написала, что это французы из лагерного руководства.

Шварц поднял голову.

— Как я изучал лицо этого мужчины! Позаимствовал лупу у часовщика. Не понимал, почему Хелен прислала это фото. Сама она, вероятно, вообще ни о чем не задумывалась. Или все-таки? Не знаю. Вам такое знакомо?

— Такое знакомо каждому, — ответил я. — Психоз пленника — случай не единичный.

Хозяин кафе подошел со счетом. Мы были последними посетителями.

— Мы можем посидеть где-нибудь еще? — спросил Шварц.

Хозяин назвал такое место.

— Там и женщины есть, — добавил он. — Красивые, упитанные. Недорого.

— А другого ничего нет?

— Ничего другого в эту пору я не знаю. — Он надел пиджак. — Если хотите, я провожу вас. Освободился уже. Тамошние женщины — народ хитрый. Я мог бы проследить, чтоб вас не обманули.

— А без женщин там можно посидеть?

— Без женщин? — Хозяин недоуменно посмотрел на нас. Затем по его лицу быстро скользнула ухмылка. — Без женщин, понятно! Конечно, господа, конечно. Но там только женщины.

Он проводил нас взглядом, когда мы вышли на улицу. Уже наступило прекрасное, очень раннее утро. Солнце пока не взошло, но запах соли усилился. Кошки шныряли по улицам, из некоторых окон веяло запахом кофе, смешанным с запахом сна. Фонари погасли. Поодаль, несколькими переулками дальше, громыхала незримая повозка, рыбацкие лодки, словно желтые и красные кувшинки, цвели на беспокойной Тежу, а внизу, бледный и тихий сейчас, без искусственного освещения, стоял корабль, ковчег, последняя надежда, и мы спустились еще ближе к нему.

Бордель оказался довольно-таки унылым заведением. Несколько неопрятных толстух играли в карты и курили. После вялой попытки привлечь

к себе внимание они оставили нас в покое. Я посмотрел на часы. Шварц заметил.

— Уже недолго, — сказал он. — А консульства открываются не раньше девяти.

Это я знал не хуже его. Но он не знал, что слушать и рассказывать не одно и то же.

— Год кажется бесконечным, — сказал Шварц. — А потом вдруг нет. В январе, когда нас посылали на работы вне лагеря, я попытался бежать. Через два дня печально знаменитый лейтенант К. нашел меня, угостил по лицу плеткой и на три недели засадил в одиночку на хлеб и воду. При второй попытке меня схватили сразу. Тогда я прекратил попытки, все равно было почти невозможно продержаться без продуктовых карточек и документов. Любой жандарм мог тебя сцапать. А до лагеря Хелен путь долгий.

Все изменилось, когда в мае действительно началась война и через месяц закончилась. Мы находились в неоккупированной зоне, но шли разговоры, что лагерь будет под контролем армейской комиссии или даже гестапо. Вам знакома паника, которая тут вспыхнула?

— Да, — сказал я. — Паника, самоубийства, петиции насчет того, чтобы нас выпустили заранее, и халатность бюрократов, которая зачастую

становилась почти неодолимым препятствием. Не всегда. Комендантам иных лагерей хватало ума под собственную ответственность выпустить эмигрантов на волю. Правда, многих затем все равно хватали в Марселе или на границе.

— В Марселе! Тогда мы с Хелен уже запаслись ядом, — сказал Шварц. — В маленьких капсулах. Они дарили фаталистический покой. Их продал мне лагерный аптекарь. Две капсулы. Не знаю, что именно это было, но я ему поверил, что, если их проглотить, умрешь быстро и почти безболезненно. По его словам, яда хватит на двоих. А продал он их мне из боязни, что примет их сам, под утро, в час отчаяния, перед рассветом.

Нас построили шеренгой, как голубей для расстрела. Поражение случилось слишком неожиданно. Никто не ожидал его так скоро. Мы пока не знали, что Англия не станет заключать мир. Видели только, что все пропало… — Шварц устало шевельнул рукой, — …да и теперь еще не знаем, не все ли потеряно. Нас оттеснили на побережье. Впереди только море.

Море, подумал я. И корабли, которые еще пересекают его.

В дверях возник хозяин последнего кафе, где мы ужинали. Он насмешливо нам отсалютовал,

почти по-военному. Потом что-то шепнул толстым шлюхам. Одна из них, с могучим бюстом, подошла к нам.

— Как вы это делаете? — спросила она.

— Что?

— Наверняка ведь ужас как больно.

— Что? — рассеянно спросил Шварц.

— Матросская любовь в открытом море, — крикнул патрон от двери, чуть не выплюнув от смеха все свои зубы.

— Этот вот наивный умник вас обманул, — сказал я шлюхе, от которой разило здоровым запахом оливкового масла, чеснока, лука, пота и жизни. — Мы не гомосексуалисты. Оба воевали в Абиссинии, и аборигены нас кастрировали.

— Вы итальянцы?

— Бывшие, — ответил я. — Кастраты уже не имеют национальности. Они космополиты.

Она призадумалась, потом серьезно сказала:

— Tu es comique[16]. — И, покачивая огромным задом, вернулась к двери, где патрон тотчас принялся ее лапать.

— Странная штука — безнадежность, — сказал Шварц. — До чего крепко в нас сидит то, что даже

---

[16] Примечания: 16
Ты смешной (*фр.*).

более не называет себя «я», всего лишь хочет жить, всего лишь цепляется за существование, за простое существование! Порой тогда попадаешь в такое место, какое, по рассказам моряков, есть у тайфуна, — в полный штиль, в око ураганного вихря. Оставляешь всякую надежду… становишься похож на жука, притворившегося мертвым… но ты не мертв. Просто отказываешься от всех усилий, кроме одного — выжить, только выжить. Являешь собой настороженную, сосредоточенную, предельную пассивность. Безрассудно растрачивать уже нечего. Штиль… меж тем как тайфун беснуется вокруг, словно круглая стена. Страх вдруг исчезает, отчаяние тоже… ведь и они — роскошь, теперь непозволительная. Усилие, какого они бы потребовали, пришлось бы черпать из сущности выживания и ослаблять ее… вот почему оно исключается. Ты только лишь зрение и расслабленная, совершенно пассивная готовность. Странная, спокойная ясность нисходит на тебя. В те дни у меня порой возникало ощущение, что я очень похож на индийского йога, который тоже отбрасывает все связанное с сознательным «я», чтобы… — Шварц осекся.

— Искать Бога? — спросил я с полунасмешкой.

Шварц покачал головой:

— Найти Бога. Его ищут всегда. Но так, будто хочешь поплыть, а в воду прыгаешь в одежде, в доспехах и с багажом. Надо быть нагим. Как той ночью, когда я покидал безопасную чужбину, чтобы вернуться на опасную родину, и переплыл Рейн как реку судьбы, узкую, освещенную луной полоску жизни.

В лагере я порой вспоминал о той ночи. Мысль о ней не ослабляла меня, наоборот, придавала сил. Я сделал то, чего потребовала жизнь, не потерпел неудачи, получил вторую, нежданную жизнь с Хелен… а легкое отчаяние, порой призрачно блуждавшее в моих снах, возникало лишь оттого, что было все остальное: Париж, Хелен и непостижимое ощущение, что ты не один. Хелен где-то жила, быть может с другим мужчиной, но жила. Это очень-очень много во времена вроде наших, когда человек ничтожнее муравья под сапогом!

Шварц умолк.

— Вы нашли Бога? — спросил я. Вопрос грубый, но он вдруг показался мне настолько важным, что я все-таки задал его.

— Лицо в зеркале, — ответил Шварц.

— Чье лицо?

— Всегда одно и то же. Разве вы знаете собственное? Лицо, с каким вы родились?

Я изумленно глянул на него. Однажды он уже прибегал к этому выражению.

— Лицо в зеркале, — повторил он. — И лицо, которое смотрит вам через плечо, и за ним другое… а потом вы вдруг становитесь зеркалом с его бесконечными повторами. Нет, я его не нашел. Да и что бы мы с ним делали, если б нашли? Для этого надо перестать быть людьми. Искать — это совсем другое.

Он улыбнулся.

— Но тогда у меня даже не осталось на это ни времени, ни сил. Я слишком опустился. Думал только о том, что любил. Жил этим. О Боге больше не думал. О справедливости тоже. Круг замкнулся. Та же ситуация, что и на реке. Она повторилась. И опять дело было лишь во мне. Когда возникает такое состояние, ты сам почти ничего сделать не можешь. Да это и не нужно, размышления только собьют с толку. Все происходит само собой. Из смехотворной человеческой изолированности возвращаешься в анонимный закон истории, и нужно лишь быть готовым идти, когда незримая рука легонько толкнет тебя в плечо. Нужно лишь подчиниться; пока не задаешь вопросов, ты защищен. Вероятно, вы думаете, я несу мистическую чепуху.

Я покачал головой:

— Мне тоже это знакомо. Так бывает и в мгновения большой опасности. Я знал людей, которые пережили это на войне. Внезапно, без причины и без колебаний, они покидали блиндаж, который минутой позже становился братской могилой. Они не знали почему, ведь по законам рассудка блиндаж в сто раз безопаснее незащищенного участка траншеи, куда они выходили.

— Я совершил невозможное, — сказал Шварц. — Причем будто самое естественное на свете. Собрал вещички и однажды утром вышел из лагеря на проселок. Отказался от обычной попытки бежать ночью. В ярком свете раннего утра подошел к большим воротам, сказал часовым, что меня отпустили, слазил в карман, дал обоим немного денег и велел выпить за мое здоровье. У них и в мыслях не было, чтобы узник настолько обнаглел и, наплевав на запрет, на глазах у всех покинул лагерь, — эти крестьянские парни в мундирах от удивления даже не подумали спросить у меня справку об освобождении.

Я медленно шагал по белой дороге. Не бежал, хотя через двадцать шагов лагерные ворота за спиной словно обернулись челюстью дракона, который крался следом и норовил сцапать меня.

Я спокойно спрятал паспорт покойного Шварца, которым небрежно помахал перед часовыми, и пошел дальше. Пахло розмарином и тимьяном. Запах свободы.

Немного погодя я сделал вид, что завязываю шнурок. Нагнулся и глянул назад. Дорога была безлюдна. Я ускорил шаги.

У меня не было ни одной из многочисленных бумаг, необходимых в ту пору. Я сносно изъяснялся по-французски и положился на то, что меня, возможно, примут за француза, говорящего на диалекте. Ведь вся страна тогда еще кочевала. В городах было полно беженцев из оккупированных областей, дороги кишмя кишели беглыми солдатами, всевозможными повозками и тачками с постелями и домашней утварью.

Я добрался до маленького трактира с несколькими столиками на лужайке, с огородом и плодовым садом. Трактирный зал был выложен плиткой и пах разлитым вином, свежим хлебом и кофе.

Меня обслуживала босоногая девушка. Расстелила скатерть, принесла кофейник, чашку, тарелку, мед и хлеб. Ни с чем не сравнимая роскошь, я с Парижа ничего такого в глаза не видал.

Снаружи, за пыльной живой изгородью, тащил-

ся мимо вдребезги разбитый мир, — здесь же, в тени деревьев, уцелел трепетный клочок мирной жизни, с жужжанием пчел и золотым светом позднего лета. Мне казалось, я мог напиться им про запас, как верблюд водой для перехода через пустыню. Закрыл глаза, чувствовал и пил свет.

13

— У вокзала стоял жандарм. Я повернул обратно. Хоть и не думал, что мое исчезновение уже заметили, решил до поры до времени держаться подальше от железной дороги. Как ни мало мы значим, пока сидим в лагере, сбежав, мы разом становимся огромной ценностью. Пока мы там, для нас жалеют куска хлеба, однако не жалеют ничего, чтобы снова нас поймать, целые роты бросают на розыски.

Часть пути я проехал на грузовике. Шофер ругал войну, немцев, французское правительство, американское правительство и Господа Бога, но, прежде чем высадить, поделился со мной обедом. Целый час я шел по проселку пешком, пока не добрался до следующей железнодорожной станции. Давно усвоив, что, если не хочешь вызвать подозрений, прятаться не стоит, я спросил билет первого класса до ближайшего города. Кассир медлил. Я ждал, что он потребует документы, и напустился на него первым. Он растерялся, потерял уверенность и выдал мне билет. Я пошел в кафе и стал ждать поезда, который действитель-

но пришел, правда с часовым опозданием.

За три дня мне удалось добраться до лагеря Хелен. На жандарма, который хотел было меня задержать, я наорал по-немецки, сунув ему под нос шварцевский паспорт. Он испуганно отпрянул и обрадовался, когда я оставил его в покое. Австрия относилась к Германии, и австрийский паспорт уже действовал как визитная карточка гестапо. Удивительно, на что только не был способен документ покойного Шварца. На куда большее, чем человек, — всего-навсего бумага с печатным текстом!

Чтобы подойти к лагерю Хелен, требовалось взобраться на гору, через дрок, вереск, розмарин и лес. Я очутился там во второй половине дня. Лагерь окружало проволочное ограждение, но выглядел он не таким мрачным, как Ле-Верне, вероятно, потому, что был женским. Почти поголовно все женщины были в пестрых платках, повязанных наподобие тюрбанов, и в пестрых платьях — вид чуть ли не беззаботный. Я заметил еще с опушки леса.

И вот это вдруг меня обескуражило. Я ожидал крайнего уныния, в которое ворвусь, как этакий Дон Кихот и святой Георгий; а теперь я здесь вроде и не нужен. Лагерь казался самодостаточ-

ным. Если Хелен здесь, она давным-давно меня забыла.

Я остался в укрытии, хотел прикинуть, как поступить. В сумерках к забору подошла какая-то женщина. За ней потянулись другие. Скоро их стало много. Стояли они молча, почти не переговариваясь. Невидящими глазами смотрели сквозь колючую проволоку. Того, что им хотелось увидеть, здесь не было — свободы. Небо наливалось лиловостью, из долины ползли тени, тут и там виднелись замаскированные фонари. Женщины превратились в тени, утратили краски и даже телесность. Бледные бесформенные лица беспорядочной цепочкой парили над плоскими черными силуэтами за проволокой; одна за другой они ушли. Час отчаяния миновал. Позднее я слышал, что в лагере его именно так и называли.

Только одна женщина по-прежнему стояла у забора. Я осторожно приблизился. «Не пугайтесь», — сказал я по-французски.

«Пугаться? — помолчав, переспросила она. — Чего?»

«Я хотел бы кое о чем вас попросить».

«Нечего тебе тут просить, мразь, — ответила она. — Неужто в ваших чугунных мозгах больше никаких мыслишек нету?»

Я воззрился на нее:

«Вы о чем?»

«Не прикидывайся дураком! Пошел к черту! Чтоб ты лопнул от своей окаянной похоти! У вас что, баб в деревне нет? Вечно тут ошиваетесь, кобели поганые!»

Я сообразил, о чем она. «Вы ошибаетесь, — сказал я. — Мне надо поговорить с одной женщиной из лагеря».

«Всем вам надо! Почему с одной? Почему не с двумя? Или не со всеми?»

«Послушайте! — сказал я. — Здесь находится моя жена. Мне надо поговорить с женой!»

«Да ну? — Женщина расхохоталась. Она вроде бы даже не сердилась, только устала. — Новая хитрость! Каждую неделю новые выдумки!»

«Я здесь впервые!»

«Больно ты бойкий для этого. Пошел к черту!»

«Да послушайте же, — сказал я по-немецки. — Я прошу вас передать одной женщине в лагере, что я здесь. Я немец. Сам сидел! В Ле-Верне!»

«Гляньте на него, — спокойно произнесла женщина. — Он и по-немецки шпарит. Эльзасец хренов! Чтоб тебя сифилис сожрал, мерзавец! Тебя и твоих окаянных корешей, которые торчат тут по вечерам. Чтоб каждому из вас рак сожрал

то, что вы нам тут суете! Неужто все чувства растеряли, подонки паршивые? Не понимаете, что делаете? Оставьте нас в покое! В покое! — громко и резко бросила она. — Мало вам, что засадили нас в лагерь? Оставьте нас в покое!» — выкрикнула она.

Я услыхал, что подходят другие, и поспешил назад. Ночь провел в лесу. Не зная, куда податься. Лежал среди стволов, видел, как угас свет, а потом над ландшафтом взошел месяц, бледный, словно белое золото, уже с туманом, мглой и прохладой осени. Утром я спустился вниз. Нашел человека, у которого выменял свой костюм на синий комбинезон монтера.

Вернулся к лагерю. Часовым я объяснил, что мне надо проверить электропроводку. По-французски я говорил вполне хорошо, поэтому меня впустили, особо не расспрашивая. Ну кто добровольно сунется в лагерь для интернированных?

Я осторожно обходил лагерные улицы. Женщины жили вроде как в больших коробках, отделенных друг от друга занавесками. В каждом бараке — верхний и нижний этаж. Посередине проход, по обе стороны занавески. Многие были отдернуты, и можно было видеть, как обустроены отсеки. В большинстве — лишь самое необходи-

мое, но в иных благодаря скатерке, нескольким открыткам, какой-нибудь фотографии сквозила персональная нотка, пусть и до крайности скудная. Я шел по сумрачным баракам, а женщины бросали работу, смотрели на меня. «Весточки?» — спросила одна.

«Да. Для некой Хелен. Хелен Бауман».

Женщина задумалась. Подошла еще одна. «Это не та нацистская шлюха, что работает в столовой? — спросила она. — Ну, которая с врачом путается?»

«Она не нацистка», — сказал я.

«Та, из столовой, тоже не нацистка, — сказала первая. — По-моему, ее зовут Хелен».

«Здесь есть нацисты?» — спросил я.

«Конечно. Тут все вперемешку. Где теперь немцы?»

«Я их не видел».

«Говорят, приедет военная комиссия. Вы что-нибудь слышали?»

«Нет».

«Она приедет, чтобы освободить из лагерей нацистов. Но, говорят, явится и гестапо. Про это вы слышали?»

«Нет».

«Немцы, по слухам, не интересуются неоккупи-

рованной зоной».

«То-то с них станется».

«Вы ничего про это не слыхали?»

«Слухи, и только».

«А от кого весточка для Хелен Бауман?»

Я помедлил. «От ее мужа. Он на свободе».

Вторая женщина рассмеялась. «Вот он удивится, муженек-то!»

«А можно зайти в столовую?» — спросил я.

«Почему бы и нет? Вы не француз?»

«Эльзасец».

«Боитесь? — спросила вторая женщина. — Почему? Вам есть что скрывать?»

«А нынче еще есть такие, кому нечего скрывать?»

«Можете спокойно повторить», — сказала первая. Вторая молчала. Пристально смотрела на меня, будто я шпион. Вокруг нее облаком стоял запах ландышевых духов.

«Спасибо, — сказал я. — Где столовая?»

Первая женщина описала мне дорогу. Я прошел через сумрак барака, словно сквозь строй. По обе стороны виднелись лица и испытующие взгляды. Я чувствовал себя так, будто угодил в государство амазонок. Потом вновь очутился на улице, на солнце, среди усталого запаха плена, который

окутывает любой лагерь, словно серая глазурь.

Я шел как слепой. Никогда я не думал о верности Хелен или неверности. Слишком это было второстепенно, слишком незначительно… слишком много всего случилось, и так важно было просто остаться в живых, что все прочее как бы не существовало. Даже если б в Ле-Верне я терзался этим вопросом, он все равно оставался бы абстрактным, мыслью, представлением, выдуманным мной самим, стертым и возникшим опять.

Однако сейчас я находился в окружении ее товарок. Вчера вечером видел их у забора и сейчас видел вновь, голодных женщин, которые много месяцев провели в одиночестве и, несмотря на плен, были женщинами и именно поэтому ощущали все куда острее. Что еще им оставалось?

Я пошел к бараку столовой. Там среди других, что покупали продукты, стояла бледная рыжеволосая женщина. «Что вам нужно?» — спросила она. Я закрыл глаза и сделал знак головой. Потом шагнул в сторону. Она быстро обвела взглядом покупательниц, шепнула: «Через пять минут. Хорошие или плохие?»

Я понял, что она имеет в виду известия — хорошие они или плохие. Пожал плечами. Потом

сказал: «Хорошие», — и вышел.

Немного погодя женщина появилась на пороге, махнула мне рукой. «Надо соблюдать осторожность, — сказала она. — Для кого у вас известия?»

«Для Хелен Бауман. Она здесь?»

«Почему?»

Я молчал. Видел веснушки у нее на носу и беспокойные глаза. «Она работает в столовой?» — спросил я.

«Что вам нужно? — в свою очередь, спросила она. — Сведения? Монтер? Для кого?»

«Для ее мужа».

«Последний раз, — с горечью сказала рыжеволосая, — вот так же спрашивали про другую женщину. Через три дня ее забрали. Мы договорились, что она сообщит, если все будет хорошо. Никакой весточки мы не получили, липовый вы монтер!»

«Я ее муж», — сказал я.

«А я — Грета Гарбо», — сказала женщина.

«Зачем мне иначе спрашивать?»

«О Хелен Бауман, — сказала женщина, — часто расспрашивали. Весьма странные люди. Хотите правду? Хелен Бауман умерла. Две недели назад. Умерла и похоронена. Вот вам правда. Я думала,

у вас вести с воли».

«Она умерла?»

«Умерла. А теперь оставьте меня в покое».

«Она не умерла, — сказал я. — В бараках лучше знают».

«В бараках болтают много чепухи».

Я посмотрел на рыжеволосую. «Передадите ей записку? Я уйду, но хотел бы оставить письмо».

«Зачем?»

«А почему нет? Письмо ничего не значит. Не убивает и не выдает».

«Неужели? — сказала женщина. — На свете-то давно живете?»

«Не знаю. Вдобавок жил урывками, и часто меня прерывали. Можете продать мне листок бумаги и карандаш?»

«Вон там найдете то и другое. — Женщина кивнула на маленький столик. — Зачем писать покойнице?»

«Затем, что сейчас такое не редкость».

Я написал: «Хелен, я здесь. Возле лагеря. Сегодня вечером. У забора. Буду ждать».

Заклеивать письмо я не стал. «Передадите ей?» — спросил я у женщины.

«Сколько же нынче сумасшедших», — ответила она.

«Да или нет?»

Она прочитала письмо, которое я ей показал. «Да или нет?» — повторил я.

«Нет», — сказала она.

Я положил письмо на стол. «По крайней мере не уничтожайте его», — сказал я.

Она промолчала. «Я вернусь и убью вас, если вы помешаете этому письму попасть в руки моей жены», — сказал я.

«Еще что-нибудь?» Пустые зеленые глаза смотрели на меня с испитого лица.

Я покачал головой и пошел к двери. «Ее здесь нет?» — спросил я, еще раз обернувшись.

Женщина неотрывно смотрела на меня и не отвечала. «Я пробуду в лагере еще десять минут, — сказал я. — Зайду снова, спрошу».

Я шел по лагерному переулку. Я не поверил этой женщине, хотел немного выждать, а потом вернуться в столовую и поискать Хелен. Но тут вдруг почувствовал, что плащ незримой защиты исчез, я стал огромным и беззащитным — надо спрятаться.

Наугад я шагнул в первую попавшуюся дверь. «Что вам нужно?» — спросила какая-то женщина.

«Мне нужно проверить электропроводку. Здесь

есть поломки?» — сказал кто-то рядом со мной, который и был мною.

«Здесь поломок нет. Хотя, по сути, все держится на честном слове».

Я увидел, что на женщине белый халат, и спросил: «Это больница?»

«Больничный барак. Вас сюда вызвали?»

«Фирма прислала меня. Проверить проводку».

«Проверяйте что хотите», — сказала женщина.

Заглянул мужчина в форме: «Что случилось?»

Женщина в белом халате объяснила. Я присмотрелся к мужчине. Кажется, я где-то видел его. «Электричество? — сказал он. — Лекарства и витамины были бы куда нужнее!»

Он швырнул кепи на стол и вышел.

«Здесь все в порядке, — сказал я женщине в белом. — Кто это был?»

«Врач, кто же еще? Другим-то на все начхать!»

«У вас много больных?»

«Хватает».

«А умерших?»

Она посмотрела на меня: «Почему вы спрашиваете?»

«Да так, — ответил я. — Почему все здесь так недоверчивы?»

«Да так, — повторила она. — Блажь такая, эх

вы, наивный ангел с родиной и паспортом! Нет, у нас уже месяц никто не умирал. Но до тех пор покойников хватало».

Месяц назад я получил от Хелен письмо. Значит, она еще здесь. «Спасибо», — сказал я.

«За что благодарить-то? — горько спросила женщина. — Лучше благодарите Бога, что родители дали вам родину, которую можно любить, хоть она и несчастна и в несчастье своем сажает еще более несчастных в лагерь и стережет для злодеев, которые их убьют… для тех самых злодеев, которые сделали вашу страну несчастной! А теперь займитесь светом, — добавила она. — Хорошо бы в иных головах включить побольше света!»

«Здесь уже побывала германская комиссия?»

«Почему вас это интересует?»

«Я слыхал, ее ожидают».

«Вам будет приятно узнать об этом?»

«Нет. Я должен кое-кого предостеречь».

«Кого?» Женщина выпрямилась.

«Хелен Бауман», — ответил я.

Женщина посмотрела на меня. Потом спросила: «Предостеречь? От чего?»

«Вы ее знаете?»

«С какой стати?»

Опять стена недоверия, которая стала мне понятна только позднее. «Я ее муж», — сказал я.

«Вы можете доказать?»

«Нет. У меня другие документы. Но, может быть, достаточно, если я скажу вам, что я не француз». Я достал паспорт покойного Шварца.

«Нацистский паспорт, — сказала женщина. — Так я и думала. Почему вы так поступаете?»

Я потерял терпение. «Чтобы увидеть жену. Она здесь. Она сама мне написала».

«Письмо у вас?»

«Нет. Я его уничтожил, когда сбежал. К чему здесь это секретничанье?»

«Я бы тоже хотела узнать, — ответила женщина. — Но от вас».

Вернулся врач. «Вы здесь нужны?» — спросил он у женщины.

«Нет».

«Тогда идемте со мной. Вы закончили?» — обратился он ко мне.

«Пока нет. Завтра зайду еще раз».

Я вернулся в столовую. Рыжеволосая с двумя другими женщинами стояла у стола, продавала им белье. Я ждал, снова чувствуя, что моя удача на исходе, пора уходить, если я хочу выбраться из лагеря. Часовые сменятся, а новым придется

объяснять все еще раз. Хелен я не видел. Рыжая прятала от меня глаза. Затягивала разговор с покупательницами. Потом подошли еще несколько женщин, а мимо окна прошагал офицер. Я покинул столовую.

У ворот еще стояли прежние часовые. Они меня не забыли, выпустили наружу. Я шел с тем же чувством, что и в Ле-Верне: они пойдут за мной и возьмут под стражу. Меня бросило в пот.

Старый грузовик ехал по дороге в гору. Деваться было некуда, и я продолжал идти по обочине, глядя в землю. Машина проехала мимо и остановилась прямо у меня за спиной. Я едва сдержался и не побежал. Машина легко могла развернуться, а тогда у меня нет ни малейшего шанса. Я услышал быстрые шаги. Кто-то окликнул: «Эй, монтер!»

Я оглянулся. Пожилой мужчина в форме подошел ближе. «В моторах разбираетесь?»

«Нет. Я электрик».

«Так, может, закавыка аккурат в электрическом зажигании. Вы бы взглянули на наш мотор, а?»

«Ага, взгляните, пожалуйста», — сказал второй шофер. Я поднял глаза. Это была Хелен. Она стояла за спиной у солдата, смотрела на меня, прижимая палец к губам. В брюках и свитере,

очень худенькая.

«Взгляните, — повторила она, пропуская меня вперед. Пробормотала: — Осторожно! Сделай вид, будто кое-что кумекаешь! Там все в порядке».

Солдат не спеша шагал следом за нами. «Откуда ты здесь?» — прошептала она.

Я со скрипом открыл капот. «Бежал. Как нам встретиться?»

Вместе со мной она склонилась над мотором. «Я делаю закупки для столовой. Послезавтра. Будь в деревне! В первом кафе слева. В девять утра».

«А пораньше?»

«Долго еще?» — спросил солдат.

Хелен достала из брючного кармана пачку сигарет, протянула ему: «Еще несколько минут. Ничего серьезного».

Солдат закурил, присел на обочине. «Где? — спросил я у Хелен, склонясь над мотором. — В лесу? У забора? Я вчера был там. Сегодня вечером?»

Секунду она помедлила. «Ладно. Сегодня вечером. Раньше десяти я не смогу».

«Почему?»

«К тому времени другие уйдут. Словом, в десять. А если что — послезавтра утром. Будь осторожен».

«Как тут с жандармами?»

Солдат подошел к нам. «Пустяки, — сказала Хелен по-французски. — Сейчас закончим».

«Машина-то старая», — заметил я.

Солдат рассмеялся: «Новые у бошей. И у министров. Готово?»

«Готово», — сказала Хелен.

«Хорошо, что мы вас встретили, — сказал солдат. — Я про машины знаю только, что им нужен бензин».

Он залез в кабину. Хелен тоже. Включила зажигание. Вероятно, она просто его отключила. Мотор заработал. «Спасибо, — сказала она, высунувшись из кабины. Губы ее беззвучно шевелились. Потом она громко сказала: — Вы отличный специалист», — и машина тронулась.

Несколько секунд я стоял в сизом дыму выхлопа. И почти ничего не чувствовал — вот точно так же не воспринимаешь разницы при быстрой смене сильного жара и холода. Затем, машинально продолжив путь, я мало-помалу начал размышлять, а вместе с мыслями вернулись тревога, и память о том, что я слышал, и тихая, зыбкая, сверлящая мука сомнения.

Я лежал в лесу и ждал. Стена плача, как Хелен называла женщин, которые тихо и слепо гляде-

ли в вечерние сумерки, редела. Вскоре многие разбрелись, ушли обратно. Стемнело. Я смотрел на столбы забора. Они обернулись тенями, потом между ними возникла новая темная тень. «Ты где?» — прошептала Хелен.

«Здесь!»

Я ощупью пробрался к ней.

«Ты можешь выйти?» — спросил я.

«Позже. Когда все уйдут. Жди».

Я опять укрылся в зарослях, но недалеко, только чтобы меня не увидели, если кто-нибудь направит на лес луч карманного фонаря. Лежал на земле, вдыхая крепкий запах палой листвы. Поднялся ветерок, вокруг зашуршало, словно ко мне подползали тысячи шпионов. Мои глаза все больше привыкали к темноте, и теперь я видел тень Хелен, а над нею смутно — ее бледное лицо, черты которого я различить не мог. Словно черное растение с белым цветком, она висела в колючей проволоке, а потом опять виделась темной безымянной фигурой из темных времен, и как раз оттого, что я не мог разглядеть ее лицо, оно стало лицом всех страждущих на свете. Чуть дальше я заметил еще одну женщину, стоявшую так же, как Хелен, потом третью и четвертую — будто фриз кариатид, несущих на плечах полог

печали и надежды.

Почти невыносимое зрелище, и я отвел глаза. А когда снова посмотрел туда, три другие беззвучно исчезли, и я увидел, что Хелен нагнулась и теребит колючую проволоку. «Разведи ее в стороны», — сказала она. Я наступил на нижний виток и приподнял следующий.

«Погоди», — шепнула Хелен.

«Где остальные?» — спросил я.

«Ушли. Одна из них нацистка. Поэтому я не могла выбраться раньше. Она бы меня выдала. Та, что плакала».

Хелен сняла блузку и юбку, протянула мне сквозь проволоку. «Нельзя, чтобы они порвались, — сказала она. — Других у меня нет».

Как в бедных семьях, где не так важно, что дети разбивают коленки, куда важнее, чтобы не порвали чулки, ведь ссадины заживают, а чулки надо покупать новые.

Я чувствовал одежду в своих руках. Хелен нагнулась и осторожно пролезла сквозь проволоку. Оцарапала плечо. Словно тоненькая черная змейка, на коже выступила кровь. Хелен встала. «Мы можем сбежать?» — спросил я.

«Куда?»

Я не знал ответа. Куда? «В Испанию, — сказал

я. — В Португалию. В Африку».

«Идем, — сказала Хелен. — Идем и не будем говорить об этом. Отсюда без документов не сбежишь. Поэтому они даже особо за нами не следят».

Впереди меня она пошла в лес. Почти обнаженная, таинственная и очень красивая. В ней уцелел лишь намек на Хелен, мою жену последних месяцев; как раз достаточно, чтобы со сладостной болью узнать ее под налетом минувшего, от которого кожа зябко и с надеждой пошла мурашками. Но здесь был и кто-то еще, пока что почти безымянный, сошедший с фриза кариатид, окруженный девятью месяцами чужбины, которая намного больше двадцати лет в нормальной жизни.

14

Хозяин того кафе, где мы сидели раньше, подошел к столику.

— Толстуха-то хоть куда, — солидно произнес он. — Француженка. Умудренная чертовка, очень рекомендую, господа! Наши женщины пылкие, но слишком торопливые. — Он прищелкнул языком. — Позвольте откланяться. Нет ничего лучше, как очистить себе кровь с помощью француженки. Они понимают жизнь. С ними и врать особо незачем, не то что с нашими. Благополучного возвращения, господа! Не берите Лолиту и Хуану. Обе никуда не годятся, вдобавок Лолита так и норовит что-нибудь стырить, только отвернись.

Он ушел. Когда дверь открылась, внутрь тотчас впорхнуло утро, донесся шум пробуждающегося города.

— Пожалуй, и нам пора идти, — сказал я.

— Я скоро закончу рассказ, — ответил Шварц, — и у нас еще осталось немного вина.

Он заказал вино и кофе для трех женщин, чтобы они к нам не приставали.

— Той ночью мы почти не разговаривали, —

продолжал он. — Я расстелил куртку, а когда стало холоднее, мы укрылись блузкой и юбкой Хелен и моим свитером. Хелен засыпала и просыпалась; один раз, в полусне, мне показалось, что она плачет, а потом она снова была невероятно нежна и осыпала меня бурными ласками, как раньше никогда не бывало. Я ни о чем не спрашивал и ничего не рассказывал о том, что слыхал в лагере. Очень любил ее и все же каким-то необъяснимым, холодным образом был от нее далек. К нежности примешивалась печаль, которая еще обостряла нежность; казалось, мы лежали, прильнув к потусторонности, слишком далеко, чтобы когда-нибудь возвратиться или куда-нибудь добраться, все было — только полет, близость и отчаяние, да-да, именно отчаяние, беззвучное, потустороннее отчаяние, в которое капали наши счастливые слезы, невыплаканные темные слезы знания, которому ведома бренность, но уже неведомы прибытие и возвращение.

«Мы не можем сбежать?» — опять спросил я, прежде чем Хелен вновь проскользнула сквозь колючую проволоку.

Она не отвечала, пока не очутилась на той стороне. «Я не могу, — прошептала она. — Не могу. Иначе пострадают другие. Приходи снова! Завтра

вечером. Можешь прийти завтра вечером?»

«Если меня до тех пор не поймают».

Хелен посмотрела на меня. «Что сталось с нашей жизнью? — спросила она. — Что мы сделали, раз с нашей жизнью сталось такое?»

Я передал ей блузку и юбку, спросил: «Это твои лучшие вещи?»

Она кивнула.

«Спасибо тебе, что ты их надела, — сказал я. — Завтра вечером я обязательно приду снова. Спрячусь в лесу».

«Тебе надо подкрепиться. У тебя есть еда?»

«Немножко. И потом, в лесу, наверно, есть ягоды. И грибы или орехи».

«Сможешь продержаться до завтрашнего вечера? Тогда я что-нибудь принесу».

«Конечно. Ведь уже почти утро».

«Грибы не ешь. Ты в них не разбираешься. Я принесу достаточно еды».

Она надела юбку. Широкую, голубую, белыми цветами, она повернула ее и застегнула, словно опоясалась оружием перед битвой. «Я люблю тебя, — с отчаянием сказала она. — Люблю куда сильнее, ты даже представить себе не можешь как. Не забывай об этом! Никогда!»

Так она говорила почти всякий раз перед раз-

лукой со мною. В ту пору мы для всех были вне закона — как для французских жандармов, которые из непомерной любви к порядку устраивали на нас облавы, так и для гестапо, которое пыталось проникнуть в лагеря, хотя считалось, что с правительством Петена достигнуто соглашение, запрещающее это. Ты никогда не знал, кто тебя сцапает, и каждое прощание утром всегда было последним.

Хелен приносила мне хлеб и фрукты, иногда кусок колбасы или сыра. Я не смел спуститься в ближайший городок и поселиться там. Устроился в лесу, в развалинах старинного разрушенного монастыря, который нашел чуть поодаль. Днем я спал там или читал то, что приносила Хелен, и наблюдал за дорогой из кустов, где меня никто не мог увидеть. Хелен приносила мне и новости и слухи: что немцы подходят все ближе и плевать хотели на свои договоры.

И все-таки жизнь была едва ли не паническая. Временами страх горечью подкатывал к горлу, как желудочный сок, но привычка жить одним часом снова и снова одерживала верх. Погода стояла хорошая, и небо ночами сверкало от звезд. Хелен добыла брезент, на котором мы лежали под сухой листвой в разрушенной монастырской

галерее и слушали ночные шорохи. «Как же ты умудряешься выходить? — спросил я как-то раз. — Причем так часто?»

«У меня ответственная должность и немножко протекции, — ответила она, помолчав. — Ты же видел, я иной раз и в деревню езжу».

«Поэтому ты можешь приносить мне съестное?»

«Его я беру в столовой. Можно кое-что купить, когда имеешь деньги и там что-то есть».

«Ты не боишься, что кто-нибудь увидит тебя здесь или выдаст?»

Она улыбнулась: «Я боюсь только за тебя. Не за себя. Что со мной может случиться? Я ведь уже в тюрьме».

На следующий вечер она не пришла. Стена плача рассыпалась, я подкрался к забору, бараки чернели в слабом свете, я ждал, но она не пришла. Ночь напролет я слышал женщин, которые ходили к туалетному бараку, слышал вздохи и стоны и вдруг заметил на дороге замаскированные фары автомобилей. Днем я остался в лесу. Меня мучила тревога, наверняка что-то случилось. Некоторое время я размышлял о том, что слышал в лагере, и каким-то странно вывернутым образом нашел в этом утешение. Всё лучше, чем если бы

Хелен захворала, была вывезена или умерла. Эти три возможности так сплелись друг с другом, что означали одно и то же. И наша жизнь была столь безысходна, что главная задача теперь заключалась в одном: не потерять друг друга и когда-нибудь попытаться выбраться из водоворота в тихую бухту. Может статься, тогда мы опять сумеем все забыть… Но это невозможно, — сказал Шварц. — При всей любви, всем сочувствии, всей доброте, всей нежности. Я это знал, и мне было все едино, я лежал в лесу, глядел на парящие трупы пестрых листьев, что слетали с ветвей, и только думал: пусть она живет! Пусть она живет, Господи, а я никогда не спрошу ее ни о чем. Жизнь человека намного больше хитросплетений, в какие он попадает, пусть она живет, просто живет, и если должна жить без меня, пусть живет без меня, только пусть живет!

Хелен не пришла и следующей ночью. Зато вечером я опять увидел два автомобиля. Они ехали в гору, к лагерю. Сделав большой крюк, я подобрался ближе и узнал мундиры. Не разглядел, эсэсовские они или вермахтовские, но наверняка немецкие. Я провел жуткую ночь. Автомобили прибыли около девяти, а уехали лишь после часу ночи. Тот факт, что они явились ночью, почти

не оставлял сомнений, что это гестапо. Когда они уезжали, я не смог разглядеть, забрали они с собой людей из лагеря или нет. До самого утра я блуждал — именно блуждал, в буквальном смысле слова, — по дороге и вокруг лагеря. Потом хотел еще раз попытаться проникнуть в лагерь под видом монтера, но увидел, что караулы удвоили и рядом сидит штатский со списками.

День казался бесконечным. Когда в сотый раз крался вдоль колючей проволоки, я вдруг заметил шагах в двадцати, на моей стороне, газетный сверток. Там оказался кусок хлеба, два яблока и записка без подписи: «Сегодня ночью». Наверно, Хелен бросила его через забор, когда меня здесь не было. Я съел хлеб, стоя на коленях, такая меня вдруг охватила слабость. Потом вернулся в свое укрытие и лег спать. Проснулся уже к вечеру. День выдался очень ясный, наполненный, будто вином, золотым светом. С каждой ночью листья становились все ярче. Буки и липа стояли теперь в теплом послеполуденном солнце, падавшем на мою прогалину, такие красные и желтые, словно, пока я спал, незримый художник превратил их в факелы, недвижно сиявшие в совершенно спокойном воздухе. Ни один листок не шевелился…

Шварц осекся.

— Пожалуйста, наберитесь терпения, когда я вроде как без нужды описываю природу. В ту пору для нас природа была важна не менее, чем для животных. И она никогда нас не отвергала. Не требовала ни паспорта, ни арийского свидетельства. Давала и брала, но оставалась безлична, и это было как лекарство. В тот вечер я долго не шевелился, боялся, что выплеснусь через край, как чаша, до краев полная воды. Потом, в абсолютной тишине и безветрии увидел вдруг, как сотни листьев слетают с деревьев, будто повинуясь таинственному приказу. Они безмятежно парили в ясном воздухе, некоторые опускались на меня. В этот миг я осознал свободу смерти и ее огромное утешение. Не принимая никакого решения, я понимал, что мне дарована милость покончить с жизнью, если Хелен умрет, что мне нет нужды оставаться одному и что эта милость — возмещение, даруемое человеку за избыток любви, на который он способен и который выходит за пределы творения; я осознал это, не размышляя, а когда осознал, то необходимость умирать, в неком отдаленном смысле, уже отпала.

Хелен не было в рядах стены плача. Она пришла, только когда остальные ушли. Одетая в короткие брюки и блузку, она сквозь проволоку

протянула мне бутылку вина и сверток. В непривычной одежде она казалась очень юной.

«Вино откупорено. И стаканчик есть, — сказала она и с легкостью проскользнула сквозь колючую проволоку. — Ты наверняка умираешь с голоду. Я достала кое-что в столовой, чего не видала с парижских времен».

«Одеколон», — сказал я. Она пахла одеколоном, свежестью в свежей ночи.

Хелен покачала головой. Я заметил, что она подстриглась, волосы были короче, нежели раньше.

«Что случилось-то? — спросил я, с неожиданной досадой. — Я думал, тебя забрали или ты при смерти, а ты приходишь будто из косметического салона. Ты и маникюр сделала?»

«Сама. — Она подняла руки и рассмеялась. — Давай выпьем вина!»

«Что случилось? Здесь побывало гестапо?»

«Нет. Армейская комиссия. Но с ними были двое гестаповцев».

«Кого-нибудь забрали?»

«Нет, — ответила она. — Налей мне».

Я заметил, что она очень взволнована: руки горячие, а кожа такая сухая, что, кажется, вот-вот захрустит.

«Они приезжали, — сказала она. — Явились,

чтобы составить список нацистов в лагере. Их отправят в Германию»

«У вас их много?»

«Хватает. Мы и не думали, что их так много. Некоторые помалкивали. Одну из таких я знала… она вдруг вышла вперед и объявила, что состоит в партии, что собрала ценные сведения и хочет вернуться в отечество, здесь с ней, дескать, обращались отвратительно, ее надо забрать отсюда немедля. Я близко с ней знакома. Слишком близко. Она знает…»

Хелен быстро осушила стакан, отдала его мне. «Что она знает?» — спросил я.

«Точно не могу сказать. Столько ночей напролет мы говорили и говорили. Она знает, кто я… — Хелен подняла голову. — Я никогда туда не вернусь, никогда! Покончу с собой, если за мной придут».

«Ты с собой не покончишь, и они за тобой не придут. С какой стати? Георг бог весть где, да и знает он не все. И с какой стати этой женщине выдавать тебя? Чем это ей поможет?»

«Обещай, что не дашь отправить меня назад».

«Обещаю», — сказал я. Она была слишком взволнована, и мне ничего не оставалось, кроме как в своем бессилии обещать всесилие.

«Я люблю тебя, — сказала она своим хрипловатым, возбужденным голосом. — Я люблю тебя, и, что бы ни случилось, ты всегда должен этому верить!»

«Я верю», — ответил я, веря и не веря.

Она откинулась назад, совершенно без сил.

«Давай убежим, — сказал я. — Сегодня же ночью».

«Куда? Паспорт у тебя на руках?»

«Да. Один человек из конторы, где хранились документы интернированных, отдал его мне. А у кого твой?»

Хелен не ответила. Некоторое время смотрела в пространство. «Здесь, в лагере, находится еврейская семья, — наконец сказала она. — Муж, жена и ребенок. Их доставили несколько дней назад. Ребенок болен. Они тоже вышли вперед. Хотят вернуться в Германию. Капитан спросил, не евреи ли они. Муж сказал, что они немцы. И хотят вернуться. Капитан хотел что-то им сказать, но рядом были гестаповцы. «Вы действительно хотите вернуться?» — спросил он еще раз. «Внесите их в список, капитан, — со смехом сказал один из гестаповцев. — Раз они так тоскуют по родине, мы пойдем им навстречу». Их внесли в список. Разговаривать с ними бесполезно. Они

твердят, что больше не могут. Ребенок тяжело болен. Здешних евреев так и так скоро вывезут, лучше уж самим записаться. Мы же в ловушке. Лучше уйти добровольно. Они словно оглохли. Ты должен с ними поговорить».

«Я? Что я могу им сказать?»

«Ты был там. Был в немецком лагере. Потом вернулся. И снова бежал».

«Где я могу с ними поговорить?»

«Здесь. Я приведу мужчину. Знаю, где он. Прямо сейчас. Я его предупредила. Его еще можно спасти».

Через четверть часа она привела тщедушного мужчину, который отказался проползать сквозь колючую проволоку. Я стоял за забором, а он — на лагерной стороне и слушал меня. Немного погодя подошла женщина. Очень бледная, она не говорила ни слова. Их обоих и ребенка схватили дней десять назад. Они сидели в разных лагерях, потом бежали, и муж каким-то чудом разыскал жену. Повсюду на дорожных камнях и углах домов они оставляли свои имена.

Шварц посмотрел на меня.

— Вам знакома Via Dolorosa[17]?

---

[17] Примечания: 17
Дорога скорби (*лат.*).

— Кому же она незнакома! Идет от Бельгии до Пиренеев.

Via Dolorosa возникла в начале войны. После вторжения немецких войск в Бельгию и прорыва линии Мажино началось великое бегство, сперва на автомобилях, нагруженных домашним скарбом и постелями, потом на всевозможных повозках, на велосипедах, конских телегах, тачках, которые толкали люди, на детских колясках и наконец пешком, бесконечными вереницами, на юг, преследуемые бомбардировщиками «штукас», в разгар французского лета. Началось и бегство эмигрантов на юг. В ту пору появились дорожные газеты. На уличных стенах, на деревенских домах, на углах перекрестков люди, ищущие друг друга, писали свои имена и зовы о помощи, писали углем, мелом, краской. Эмигранты, которые находились в бегах уже не один год и прятались от полиции, организовали вдобавок цепочку опорных пунктов, протянувшуюся от Ниццы до Неаполя и от Парижа до Цюриха. Это были местные жители, которые передавали весточки, менялись адресами, давали советы и у которых можно было переночевать ночь-другую. С их помощью человек, о котором рассказывал Шварц, отыскал жену и ребенка, что иначе бы-

ло бы куда труднее, чем отыскать пресловутую иголку в стоге сена.

Шварц продолжал:

— «Если мы останемся, нас опять разлучат, — сказал мне этот человек. — Здесь женский лагерь. Нас привезли сюда, но лишь на несколько дней. Мне уже сообщили, что я буду отправлен в другое место, в один из мужских лагерей. Мы этого не вынесем». Он все обдумал, так, мол, будет лучше. Бежать они не могут, уже пробовали. Чуть не умерли с голоду. Теперь вот ребенок захворал, жена совершенно без сил, да и он сам тоже. Лучше добровольно вернуться; мы-де тут, в сущности, как скот в цехах бойни. Так или иначе заберут, по необходимости или по капризу. «Почему нас не отпустили, когда еще было время?» — сказал под конец этот кроткий, худой мужчина с узким лицом и маленькими темными усиками.

Никто бы не сумел ему ответить. Мы не были здесь нужны, но и отпустить нас не отпускали — мелкий парадокс при крахе целой нации, и те, кто мог бы изменить обстоятельства, не придавали ему значения.

На следующий день ближе к вечеру вверх по дороге проехали два грузовика. И тотчас я увидел, как колючая проволока ожила. Примерно

десяток женщин, помогая друг другу, пролезли под ней. И все бросились в лес. Я сидел в укрытии, пока не заметил Хелен. «Нас предупредила префектура, — сказала она. — Немцы явились за теми, кто хочет вернуться. Неизвестно, что еще произойдет, поэтому нам разрешили спрятаться в лесу, пока они не уедут».

Впервые я увидел ее днем, если не считать того мгновения на дороге. Ее длинные ноги и лицо покрывал загар, но она очень исхудала. Глаза слишком большие и блестящие, а лицо слишком узкое. «Отдаешь мне еду, а сама голодаешь», — сказал я.

«Еды мне хватает, — сказала она. — Об этом заботятся. Вот… — она сунула руку в карман, — даже кусок шоколада. Вчера мы могли купить pâté de foie gras[18] и сардины в банках. Но хлеба не было».

«Мужчина, с которым я говорил, уезжает?» — спросил я.

«Да…»

Лицо Хелен вдруг дернулось. «Я никогда не вернусь, — помолчав, сказала она. — Никогда! Ты мне обещал! Я не хочу, чтобы меня поймали!»

---

[18] Примечания: 18
Пирог с гусиной печенкой (*фр.*).

«Тебя не поймают».

Через час грузовики уехали. Женщины пели. Ветер доносил слова: «Германия, Германия превыше всего».

Той ночью я поделился с Хелен ядом, добытым в Ле-Верне.

Днем позже она узнала, что Георг доведался, где она.

«Кто тебе сказал?» — спросил я.

«Тот, кто знает».

«Кто?»

«Лагерный врач».

«Откуда ему это известно?»

«Из комендатуры. Туда пришел запрос».

«Врач сказал, что́ тебе надо делать?»

«Он может на несколько дней спрятать меня в больничном бараке. Ненадолго».

«Тогда тебе надо уходить из лагеря. Кто вчера предупредил, что те из вас, кому грозит опасность, должны спрятаться в лесу?»

«Префект».

«Ладно, — сказал я. — Постарайся добыть свой паспорт и справку об освобождении. Вероятно, врач тебе поможет. Если нет, мы сбежим. Собери все необходимое. Никому ни слова. Никому! Я постараюсь поговорить с префектом. Похоже, он

человек».

«Не надо! Будь осторожен! Ради бога, будь осторожен!»

Кое-как почистив комбинезон, я утром вышел из леса. Приходилось брать в расчет, что можно попасть в лапы немецких патрулей или французских жандармов, но отныне с этим надо было считаться постоянно.

Мне удалось пройти к префекту. Я обманул жандарма и писаря, выдав себя за немецкого техника, которому требуется информация о прокладке электрической линии для военных нужд. Когда совершаешь неожиданный поступок, иной раз все получается, это я усвоил. Как беженца жандарм немедля бы меня арестовал. Подобные люди лучше всего реагируют на крик.

Префекту я сказал правду. Сперва он хотел меня вышвырнуть. Потом моя наглость позабавила его. Он угостил меня сигаретой и сказал, чтоб я убирался к чертовой матери, он-де ничего не видел и не слышал. Через десять минут он заявил, что ничего сделать не может, у немцев, вероятно, есть списки и его привлекут к ответу, если кого-нибудь недосчитаются. А ему не хочется сгинуть в немецком концлагере.

«Господин префект, — сказал я, — мне извест-

но, что вы защищали пленных. Как известно и что вы обязаны подчиняться приказам. Но, кроме того, и вам, и мне известно, что во Франции сейчас царит хаос поражения, что нынешние приказы могут оказаться завтрашним позором и что, если сумятица выродится в бессмысленную жестокость, оправдать ее даже позднее будет трудно. Зачем вам, вопреки собственной воле, держать невинных людей за колючей проволокой, предназначая их для крематориев и пыточных камер? Возможно, в то время, когда Франция еще оборонялась, существовало мнимое право сгонять иностранцев в лагеря для интернированных, безразлично, выступали ли они на стороне агрессоров или против них. Но война давно закончилась, несколько дней назад победители забрали своих; в лагере остались только жертвы, день за днем изнывающие от страха, что их увезут на смерть. Мне бы следовало просить за всех этих жертв, а я прошу только за одну из них. Если вы боитесь списков, запишите мою жену как сбежавшую… как умершую, наконец, как самоубийцу, если угодно, тогда вы никакой ответственности не понесете!»

Он долго смотрел на меня. Потом сказал: «Зайдите завтра».

Я не двинулся с места. «Не знаю, в чьих руках я буду завтра, — сказал я. — Сделайте это сегодня».

«Зайдите через два часа».

«Я подожду за дверью, — сказал я. — Более надежного места я не знаю».

Он вдруг улыбнулся. «Quelle affaire d'amour[19], — сказал он. — Вы женаты, а жить вынуждены как неженатые. Обычно бывает наоборот».

Я перевел дух. Часом позже он позвал меня в кабинет.

«Я созвонился с руководством лагеря, — сказал он. — О вашей жене действительно наводили справки. Согласно вашему предложению, мы запишем ее умершей. Тогда вас оставят в покое. И нас тоже».

Я кивнул. Странный, холодный страх вдруг навалился на меня, остаток суеверия, что судьбу искушать нельзя. Но разве я сам не умер давным-давно и не жил по документам умершего?

«До завтра все будет сделано», — сказал префект.

«Сегодня, — возразил я. — Однажды я просидел два года в лагере, потому что на один день опоздал с побегом».

---

[19] Примечания: 19
Какая любовная история (*фр.*).

Силы вдруг оставили меня. И он наверняка заметил. Я побледнел и был на грани обморока. Он послал за коньяком. «Кофе», — сказал я и рухнул на стул. Комната кружилась перед глазами в фиолетово-серых тенях. Только не падать, подумал я, когда в ушах зашумело. Хелен свободна, нам необходимо убраться отсюда!

К шуму и круженью примешивались лицо и голос, который кричал, сперва неразборчиво, потом очень громко. Я пытался следить за ним, за ним и за лицом, и наконец расслышал: «Вы что, думаете, я шучу, merde alors? Какого дьявола? Я не тюремщик, я порядочный человек, черт бы побрал всех и вся… Пусть уходят все… все!»

Голос опять куда-то подевался, и я не знаю, вправду ли он так кричал или мне почудилось. Принесли кофе, я, пошатываясь, вышел за дверь, сел на лавку. Немного погодя кто-то подошел и сказал, что надо еще немного подождать. А я и без того бы не ушел.

Потом вышел префект, сообщил, что все в порядке. Мне показалось, приступ слабости принес не меньше пользы, чем все мои слова. «Вам лучше? — спросил он. — Не стоит так меня бояться. Я всего-навсего мелкий провинциальный французский префект».

«Это больше, чем Господь Бог, — ответил я, совершенно счастливый. — Бог дал мне лишь весьма общее разрешение на жительство на земле, от которого мало проку. По-настоящему мне необходимо разрешение на жительство именно в этом округе, и дать его мне можете только вы один, господин префект».

Он засмеялся: «Но если вас станут искать, здесь опасность особенно велика».

«Если меня будут искать, то в Марселе опасность куда больше. Они решат, что я там, а не здесь. Выдайте нам разрешение на неделю. За это время мы успеем переправиться через Чермное море».

«Чермное море?»

«Это у беженцев такое выражение. Мы живем как евреи при исходе из Египта. За спиной у нас немецкая армия и гестапо, по обе стороны море французской и испанской полиции, а впереди обетованная земля Португалия с гаванью Лиссабона, откуда путь лежит в еще более обетованную Америку».

«У вас есть американские визы?»

«Мы их получим».

«Похоже, вы верите в чудеса».

«У меня нет выбора. Разве сегодня не случилось

чудо?»

Шварц улыбнулся мне:

— Странно, каким расчетливым можно стать в беде. Я точно знал, зачем сказал последнюю фразу и зачем раньше польстил префекту, сравнив его с Господом Богом. Мне надо было ненадолго достать разрешение на жительство. Когда полностью зависишь от других людей, становишься весьма расчетливым психологом, даже если от напряжения едва способен дышать, а может, как раз поэтому. Одно и другое не имеют ничего общего, функционируют по отдельности, не ущемляя друг друга, страх неподделен, боль неподдельна, ну и расчет тоже. Цель у всех одна — спастись.

Шварц заметно успокоился.

— Скоро я закончу, — сказал он. — Мы действительно получили недельное разрешение на жительство. Я стоял у ворот лагеря, ждал Хелен. День клонился к вечеру. Моросил мелкий дождик. С ней был врач. Секунду она говорила с ним, еще не заметив меня. Говорила оживленно, и лицо было оживленнее обычного, мне показалось, будто я с улицы заглядываю в комнату, а обитатели об этом не догадываются. Потом она увидела меня.

«Ваша жена очень больна», — сказал мне врач.

«Это правда, — смеясь, сказала Хелен. — Меня отпускают в больницу, где я и умру. Такова договоренность».

«Я не шучу! — запротестовал врач. — Вашей жене действительно необходимо лечь в больницу».

«Почему же она до сих пор не там?» — спросил я.

«Что все это значит? — сказала Хелен. — Я не больна и в больницу не пойду».

«Вы можете устроить ее в больницу, — спросил я врача, — где она будет в безопасности?»

«Нет», — помолчав, ответил он.

Хелен опять рассмеялась: «Конечно же, нет. Какой глупый разговор. Adieu[20], Жан».

Она зашагала по дороге. Я хотел спросить врача, что с ней, но не смог. Он посмотрел на меня, быстро отвернулся и пошел обратно в лагерь. Я последовал за Хелен.

«Паспорт у тебя?» — спросил я.

Она кивнула.

«Дай мне сумку», — сказал я.

«Там совсем немного».

«Все равно, дай».

---

[20] Примечания: 20
Прощайте (*фр.*).

«У меня сохранилось вечернее платье, которое ты купил мне в Париже».

Мы шли вниз по дороге.

«Ты больна?» — спросил я.

«Будь я вправду больна, я бы не смогла идти. И температурила бы. Я не больна. Он лжет. Хотел, чтобы я осталась. Посмотри на меня. Разве у меня больной вид?»

Она остановилась.

«Да», — сказал я.

«Не грусти», — сказала она.

«Я не грущу».

Теперь я знал, что она больна, и знал, что мне она никогда правды не скажет. «Тебе помогло бы, если бы ты легла в больницу?»

«Нет! — сказала она. — Ничуть! Поверь мне. Будь я больна и больница могла бы мне помочь, я бы сразу попыталась попасть туда. Поверь!»

«Верю».

А что мне было делать? Я вдруг вконец пал духом. «Может, лучше бы тебе остаться в лагере», — сказал я, помолчав.

«Я бы покончила с собой, если б ты не пришел».

Мы зашагали дальше. Дождь усилился. Обвеивал нас, словно серая завеса из крохотных

капелек. «Надо поскорее добраться до Марселя, — сказал я. — А оттуда в Лиссабон и в Америку». Там есть хорошие доктора, думал я. И больницы, где не арестуют. Может, мне там и работать разрешат. «Мы забудем Европу как дурной сон», — сказал я.

Хелен не ответила.

15

— Началась одиссея, — сказал Шварц. — Странствие через пустыню. Переход через Чермное море. Вам он наверняка тоже знаком.

Я кивнул:

— Бордо. Осторожные поиски переходов через границу. Пиренеи. Медленный натиск на Марсель. Натиск на пассивные сердца и бегство от варваров. А в промежутке безумие взбесившейся бюрократии. Никакого разрешения на жительство… но и никакого разрешения на выезд. А когда мы его все-таки получили, истекла испанская транзитная виза, которую опять-таки выдавали только по предъявлении въездной визы в Португалию, которая, в свою очередь, нередко зависела от еще какой-нибудь другой, иначе говоря, приходилось все начинать сначала… ожидание в консульствах, этих преддвериях рая и ада! Circulus vitiosus[21] безумия!

— Сперва мы попали в штиль, — сказал Шварц. — Вечером у Хелен случился нервный срыв. Я нашел комнату на окраинном постоялом

---

[21] Примечания: 21
Порочный круг (*лат.*).

дворе. Впервые мы снова жили легально… впервые за много месяцев снова имели отдельную комнату… вот это и вызвало у нее приступ слез. Потом мы молча сидели в садике постоялого двора. Было уже весьма прохладно, но нам не хотелось пока идти спать. Мы распили бутылку вина, смотрели на дорогу, ведущую в лагерь, ее было видно из садика. Глубокая благодарность прямо-таки болью отзывалась в моей душе. В тот вечер она затмила все, даже страх, что Хелен больна. После приступа рыданий она выглядела расслабленной и очень спокойной, как пейзаж после дождя, и такой красивой, как иной раз лица на старинных камеях. Вы ведь поймете, — сказал Шварц. — В той жизни, какую мы ведем, болезнь имеет иное значение, нежели обычно. У нас болезнь означает, что бежать дальше невозможно.

— Знаю, — с горечью сказал я.

— Следующим вечером мы увидели на дороге к лагерю замаскированные фары автомобиля. Хелен забеспокоилась. Весь день мы почти не выходили из комнаты. Снова иметь кровать и собственную комнату — событие огромное, им можно наслаждаться бесконечно. Вдобавок мы оба чувствовали, насколько устали и вымотались, я бы вообще неделями не выходил с постоялого

двора. Но Хелен вдруг решила уехать. Не желала больше видеть дорогу в лагерь. Боялась, что гестапо так и будет ее разыскивать.

Мы собрали свои скудные пожитки. Вполне разумно — отправиться дальше, пока у нас еще есть разрешение на жительство в этом округе; если нас схватят где-нибудь в другом месте, то разве что вышлют обратно сюда, а не арестуют, так мы надеялись.

Я думал добраться до Бордо, но по пути мы услышали, что для этого давно слишком поздно. Нас подобрал маленький двухместный «ситроен», и водитель посоветовал нам устроиться где-нибудь еще. Неподалеку от того места, куда он направляется, есть маленький дворец, ему известно, что он пустует, вероятно, мы сможем там переночевать.

В общем-то, выбора у нас не было. Под вечер водитель высадил нас. Перед нами в сером полумраке лежал маленький дворец, скорее загородный особняк, окна темные, без штор. Я поднялся по наружной лестнице, попробовал дверь. Она была открыта, и, судя по следам, выбита. Мои шаги гулко отдавались в сумрачном холле. Я окликнул — ответом было рваное эхо. Комнаты совершенно пустые. Все, что можно было унести, унесли. Однако помещения во-

семнадцатого столетия сохранились, обшитые панелями стены, благородные соразмерные окна, потолки и изящные лестницы.

Мы медленно обошли дом. На наши оклики никто не отвечал. Я искал электрические выключатели. Их не нашлось. Электричество сюда не провели, дворец остался таким, каким его построили. Маленькая столовая, белая с золотом… спальня, светло-зеленая с золотом. Никакой мебели; должно быть, владельцы все продали, чтобы сбежать.

В мансардной комнате мы наконец-то нашли сундук. Там обнаружились несколько масок, пестрые дешевые костюмы, видимо оставшиеся от праздника, и несколько пачек свечей. Но лучше всего была железная кровать с матрасом. Продолжив поиски, мы нашли на кухне немного хлеба, несколько баночек сардин, пучок чеснока, полбанки меда, а в погребе — фунт-другой картошки, несколько бутылок вина и штабель дров. Волшебная страна!

Почти во всех комнатах были камины. Найденными костюмами мы завесили окно одной из комнат, вероятно спальни. Я еще раз обошел вокруг дворца, обнаружил плодовый сад и огород. Яблоки и груши еще висели на деревьях. Я их

собрал, отнес в дом.

Когда настолько стемнело, что дым из трубы уже не разглядишь, я развел в камине огонь, и мы приступили к ужину. Таинственное и волшебное настроение. Отсвет огня плясал на чудесных резных панелях, а наши тени колебались меж ними, словно духи из счастливого мира.

Стало тепло, Хелен переоделась, чтобы высушить то, в чем была. Достала парижское вечернее платье, надела его. Я откупорил бутылку вина. За неимением бокалов пили мы прямо из горлышка. Позднее Хелен опять переоделась. Извлекла из сундука домино и полумаску и бегала в них по темной лестнице. Окликала то сверху, то снизу и порхала вокруг, голос ее эхом отдавался повсюду, я уже не видел ее, только слышал ее шаги, пока она вдруг не очутилась в темноте у меня за спиной и я не почувствовал на затылке ее дыхание.

«Я думал, что потерял тебя», — сказал я, крепко обняв ее.

«Ты никогда меня не потеряешь, — прошептала она сквозь узкую маску. — А знаешь почему? Потому что никогда не стремился удержать меня, как крестьянин свой надел. Самый блестящий мужчина в сравнении с этим — зануда».

«Я-то уж точно не блестящий мужчина», — с

удивлением сказал я.

Мы стояли на лестничной площадке. Из приоткрытой двери спальни на бронзовые орнаменты перил, на плечи и губы Хелен полосой падал трепещущий свет камина.

«Ты не знаешь, какой ты, — пробормотала она, глядя на меня сверкающими глазами, которые сквозь маску казались, словно у змеи, без белка, были просто неподвижными и сверкающими. — Но должен бы знать, до чего унылы все эти донжуаны! Будто платья, которые надеваешь один раз. А ты… ты — душа».

Наверно, костюмы, которые мы надели, облегчили нам использование подобных слов. Я ведь тоже надел домино, несколько против воли, но мои вещи, как и ее, за день отсырели и сейчас сушились у камина. Непривычная одежда в таинственном интерьере belle époque[22] изменила нас, отверзла наши уста для иных слов, нежели обычно. Верность и неверность утратили свою бюргерскую весомость и односторонность, одно могло быть другим, существовало не только одно или другое, но великое множество оттенков, и названия утратили значение.

---

[22] Примечания: 22
Прекрасной эпохи (*фр.*).

«Мы покойники, — прошептала Хелен. — Оба. У нас больше нет законов. Ты мертв, с мертвым паспортом, а я умерла сегодня в больнице. Глянь на нашу одежду! Словно пестрые и золотые летучие мыши, мы порхаем в умершем столетии. Его называли прекрасным, и оно таким и было, со своими менуэтами, изяществом и флером рококо… но в конце его стояла гильотина, как она стоит всегда и всюду, холодным утром после каждого праздника, сверкающая и неумолимая. Где будет стоять наша, любимый?»

«Не надо, Хелен», — сказал я.

«Нигде ее не будет, — прошептала она. — Разве есть гильотина для мертвецов? Нас она уже не разрежет, невозможно разрезать ни свет, ни тень, но ведь нам все время норовили сломать руки, да? Держи меня, здесь, в этом волшебстве и золотой тьме, и, может быть, частица этого останется в нас и озарит жалкий час нашего последнего вздоха».

«Не говори так, Хелен», — сказал я, чувствуя, как мороз бежит по коже.

«Помни меня всегда такой, как сейчас, — прошептала она, не слушая меня. — Кто знает, что нас еще ждет…»

«Мы уедем в Америку, а война когда-нибудь

кончится», — сказал я.

«Я не жалуюсь, — сказала она совсем рядом с моим лицом. — Как мы можем жаловаться? Кем бы мы стали иначе? Скучной заурядной парой, которая ведет скучную заурядную жизнь в Оснабрюке, с заурядными чувствами и ежегодной поездкой в отпуск…»

Я невольно рассмеялся: «Можно и так сказать».

В этот вечер она была очень веселая и праздновала его как торжество. Со свечой, в золотых туфельках, купленных в Париже и спасенных, она побежала в погреб за новой бутылкой вина. Стоя на верху лестницы, я смотрел, как она выходит из темноты, освещенное, поднятое ко мне лицо на фоне несчетных теней. Я был счастлив, если можно назвать счастье зеркалом, в котором отражается любимое лицо, чистое и совершенное на фоне несчетных теней.

Огонь мало-помалу потух. Хелен уснула под яркими костюмами. Странная была ночь. Лишь совсем поздно я услышал гул самолетов, от которого зеркала рококо чуть позвякивали.

Четыре дня мы провели вдвоем. Потом мне пришлось идти в ближайшую деревню за покупками. Там я услышал, что из Бордо должны отплыть два корабля. «Немцев там еще нет?» — спросил я.

«Они и там, и не там, — ответили мне. — Все зависит от того, кто вы такой».

Я обсудил эту весть с Хелен. К моему удивлению, она приняла ее довольно равнодушно. «Корабли, Хелен! — взволнованно сказал я. — Уехать отсюда! В Африку. В Лиссабон. Куда-нибудь. Оттуда можно двинуть дальше».

«Почему бы нам не остаться здесь? — возразила она. — В саду есть фрукты и овощи. Я буду их варить, пока не кончатся дрова. Хлеб купим в деревне. Деньги у нас еще остались?»

«Немножко. И у меня есть еще один рисунок. В Бордо можно продать его, чтобы хватило на дорогу».

«Кто сейчас покупает рисунки?»

«Люди, желающие вложить деньги».

Она засмеялась: «Тогда продай его и давай останемся тут».

«Эх, если б было можно!»

Она влюбилась в этот дом. По одну сторону был маленький парк, за ним плодовые деревья и огород. Вдобавок даже прудик и солнечные часы. Хелен любила дом, а он словно любил ее. Был рамой, под стать ей, и впервые мы жили не в гостинице и не в бараке. Жизнь в маскарадных костюмах и в атмосфере жизнерадостного про-

шлого и мне тоже дарила волшебную надежду… порой даже веру в жизнь после смерти… как будто мы уже провели первую ее репетицию. Я бы тоже не возражал прожить так несколько сотен лет.

Но все равно я думал о кораблях в Бордо. Мне казалось невероятным, что они выйдут в море, раз город уже частично оккупирован… однако то было время двойственной войны. Франция заключила перемирие, но пока что не мир, существовали якобы зона оккупации и свободная зона, но страна не имела сил защищать соглашения, а кроме того, там находились германская армия и гестапо, а они не всегда действовали рука об руку.

«Необходимо все выяснить, — сказал я. — Ты останешься здесь, а я попытаюсь пробраться в Бордо».

Хелен покачала головой: «Одна я здесь не останусь. Поеду с тобой».

Я понимал ее. Более не существовало отдельных опасных и безопасных районов. Можно было выйти живым из вражеской штаб-квартиры и на отдаленном острове угодить в лапы гестаповских агентов; все прежние масштабы сдвинулись.

В город мы попали случайно, что и вам, веро-

ятно, знакомо, — сказал Шварц. — Когда задним числом думаешь об этом, то сам не понимаешь, как это оказалось возможно. Пешком, на грузовике… раз даже подъехали верхом, на двух крупных, добродушных крестьянских лошадях, которых работник вел на продажу.

В Бордо уже стояли войска. Город не оккупировали, но войска там были. Огромный шок — каждую минуту мы ждали ареста. Хелен была в неброском костюме, который вместе с вечерним платьем, парой брюк и двумя свитерами составлял весь ее гардероб. Я обретался в комбинезоне. Костюм нес в рюкзаке.

Вещи мы оставили в одном из кафе. Багаж всюду привлекает внимание, хотя многие французы тоже были с чемоданами. «Пойдем в бюро путешествий и спросим насчет кораблей», — сказал я. В городе мы никого не знали.

В самом деле одно бюро таки нашлось. В витринах висели старые плакаты: «Проведите осень в Лиссабоне», «Алжир — жемчужина Африки», «Каникулы во Флориде», «Солнечная Гранада». Большинство выцвели, но плакаты с Лиссабоном и Гранадой еще светились роскошными яркими красками.

Ждать в очереди к окошку не пришлось. Че-

тырнадцатилетний спец дал нам нужную информацию. Сведения о кораблях не соответствовали истине, сказал он. Слухи такого рода ходили уже не одну неделю. Вот задолго до оккупации в порт действительно заходил английский корабль, забрал поляков и эмигрантов, записавшихся в Польский легион, добровольческие части, которые формировались в Англии. Сейчас корабли уже не ходят.

Я спросил, что же тогда нужно всем этим людям в бюро.

«Большинству то же, что и вам», — ответил спец.

«А вы?» — спросил я.

«Я давно отказался от мысли уехать, — сказал он. — Теперь вот зарабатываю на этом. Переводчик, советчик, специалист по визовым делам, эксперт по ночлегам…»

Я не удивился. Нужда заставляет рано взрослеть, и глаз молодежи не замутняют сентиментальность и предрассудки. Мы зашли в кафе, и спец обрисовал мне ситуацию. Возможно, войска уйдут, но разрешение на жительство в Бордо все равно получить трудно, а с визами обстоит *совсем* скверно. Сейчас для получения испанских виз подходила Байонна, но город переполнен.

Лучше всего как будто бы Марсель, но путь туда далек. Мы все его проделали, позднее. Вы тоже? — спросил Шварц.

— Да, — сказал я. — Дорога скорби.

Шварц кивнул:

— Я, конечно, по пути попытал счастья в американском консульстве. Но у Хелен был действительный немецкий паспорт, выданный при нацистах; как мы докажем, что находимся в смертельной опасности? Перепуганным евреям, которые без документов сидели у дверей, грозила, пожалуй, куда большая опасность. Наши паспорта свидетельствовали против нас, даже паспорт покойного Шварца.

Мы решили вернуться в свой дворец. Дважды нас останавливали жандармы, оба раза я воспользовался их подавленным настроением — орал на них, совал им под нос паспорта и как австрийский немец ссылался на военную администрацию. Хелен смеялась, ей все это казалось забавным. Впервые эта мысль пришла мне в голову, когда я потребовал в кафе наш багаж. Хозяин заявил, что в глаза его не видал. «Если хотите, можете вызвать полицию, — сказал он, с ухмылкой подмигнув мне. — Но вы ведь не хотите!»

«Мне этого не требуется, — ответил я. — Несите

вещи!»

Хозяин кивнул официанту: «Анри, господин собирается уходить».

Засучив рукава, подошел Анри. «На вашем месте я бы хорошенько подумал, Анри, — сказал я. — Или вам не терпится посмотреть, как выглядят изнутри немецкие концлагеря?»

«Ta gueule»[23], — сказал Анри и, подняв кулаки, пошел на меня.

«Стреляйте, сержант!» — крикнул я, глядя мимо него.

Анри попался на уловку. Оглянулся, а поскольку руки были подняты, я со всей силы пнул его в пах. Он взвыл и рухнул на пол. Хозяин схватил бутылку и двинулся вон из-за стойки.

Я цапнул с цинковой стойки бутылку дюбонне, ударил ею об угол и таким манером вооружился «звездочкой». Хозяин замер. У меня за спиной разбилась вторая бутылка. Я не оглядывался — нельзя выпускать хозяина из поля зрения.

«Это я, — сказала Хелен и рявкнула хозяину: — Salaud![24] Живо отдавай вещи, или морду расквашу!»

---

[23] Примечания: 23
Заткни пасть (*фр.*).

[24] Примечания: 24
Мерзавец! (*фр.*)

С разбитой бутылкой в руке она обошла меня и, пригнувшись, двинулась на хозяина. Я удержал ее свободной рукой. Похоже, ей попалась бутылка перно, потому что вдруг запахло анисом. Поток площадной брани низвергся на хозяина. Хелен пыталась вырваться из моей хватки. Хозяин поспешно ретировался за стойку.

«Что здесь происходит?» — по-немецки спросил кто-то от двери.

Хозяин расплылся в ухмылке. Хелен обернулась. Немецкий унтер-офицер, которого я только что выдумал для Анри, действительно стоял на пороге.

«Он пострадал?» — спросил унтер-офицер.

«Этот негодяй? — Хелен кивнула на Анри, который, прижимая кулаки к промежности и подтянув колени, все еще сидел на полу. — Это не кровь! Это дюбонне!»

«Вы немцы?» — спросил унтер-офицер.

«Да, — ответил я. — И нас обокрали».

«У вас есть документы?»

Хозяин ухмыльнулся, похоже, он немного понимал по-немецки.

«Конечно! — возмущенно воскликнула Хелен. — Прошу вас, помогите нам! — Она предъявила свой паспорт. — Я сестра обер-штурм-

баннфюрера Юргенса. Вот… — Она показала на дату в паспорте. — Мы живем во дворце… — Она произнесла название, которого я в жизни не слыхал. — И на один день приехали в Бордо. Вещи мы оставили здесь, у этого ворюги. Теперь он утверждает, что в глаза их не видал. Помогите нам, пожалуйста!»

Она снова напустилась на хозяина. «Это правда?» — спросил его унтер-офицер.

«Конечно, правда! Немецкая женщина не лжет!» — процитировала Хелен один из идиотских лозунгов режима.

«А вы кто?» — спросил у меня унтер-офицер.

«Шофер», — сказал я, хлопнув по своему комбинезону.

«Ну, живо!» — рявкнул унтер-офицер на хозяина.

Тот перестал ухмыляться.

«Не закрыть ли нам вашу лавочку?» — осведомился унтер-офицер.

Хелен перевела с огромным удовольствием да еще и добавила порцию «salauds» и «sales étrangers»[25]. Последнее меня особенно восхитило; с наслаждением назвать француза в его

---

[25] Примечания: 25
Грязные иностранцы (*фр.*).

собственной стране грязным иностранцем мог лишь тот, кто часто слышал такое по своему адресу.

«Анри! — тявкнул хозяин. — Куда ты девал вещи? Я ничего не знаю, — объяснил он унтер-офицеру, — это его рук дело».

«Он лжет, — перевела Хелен. — Сваливает вину на вон того гориллу. Давай вещи, — сказала она хозяину. — Живо! Или мы вызовем гестапо!»

Хозяин дал пинка Анри. Тот куда-то скрылся. «Извините, — сказал хозяин унтер-офицеру. — Недоразумение. Стаканчик?»

«Коньяку, — ответила Хелен. — Самого лучшего».

Хозяин поставил стакан на стойку. Хелен смотрела на него. Он добавил еще два стакана. «Вы храбрая женщина», — сказал унтер-офицер.

«Немецкая женщина ничего не боится», — процитировала Хелен нацистскую идеологию и отложила в сторону разбитую бутылку перно.

«Какая у вас машина?» — поинтересовался унтер-офицер.

Я твердо посмотрел ему прямо в безобидные серые глаза. «“Мерседес”», машина фюрера, само собой!»

Он кивнул. «Хорошо здесь, правда? Не как дома,

но хорошо, вы согласны?»

«Очень хорошо. Но не как дома, понятно».

Мы выпили. Коньяк был превосходный. Анри принес наши вещи, положил на стул. Я проверил рюкзак. Все на месте.

«Порядок», — сказал я унтер-офицеру.

«Это работник виноват, — заявил хозяин. — Ты уволен, Анри! Катись отсюда!»

«Спасибо, унтер-офицер, — сказала Хелен. — Вы настоящий немец и кавалер».

Унтер-офицер взял под козырек. Ему не было и двадцати пяти. «Тут еще счет за разбитые бутылки дюбонне и перно», — сказал хозяин, который опять набрался храбрости.

Хелен перевела, добавив: «Он не кавалер. Это была самооборона».

Унтер-офицер взял со стойки ближайшую бутылку. «Позвольте, — галантно произнес он. — В конце концов не зря же мы победители!»

«Мадам не пьет куантро, — сказал я. — Берите коньяк, унтер-офицер, хоть он уже и почат».

Унтер-офицер преподнес Хелен бутылку. Я сунул ее в рюкзак. У дверей мы попрощались. Я опасался, что солдат захочет проводить нас до «мерседеса», но Хелен ловко все уладила. «У нас такое случиться не может, — гордо объявил

на прощание молодой солдат. — У нас везде порядок!»

Я проводил его взглядом. Порядок, думал я. С пытками, выстрелами в затылок и массовыми убийствами! Лично я предпочту сотню тысяч мелких мошенников вроде здешнего хозяина!

«Как самочувствие?» — спросила Хелен.

«Нормально. Не знал, что ты умеешь так браниться».

Она рассмеялась: «В лагере выучилась. Как это освобождает! Год интернирования вдруг свалился с плеч! Но ты-то где научился драться разбитыми бутылками и пинком делать мужиков евнухами?»

«В борьбе за права человека, — ответил я. — Мы живем в эпоху парадоксов. Для сохранения мира ведем войну».

Почти так оно и было. Приходилось лгать и обманывать, чтобы защититься и выжить. В ближайшие недели я крал у крестьян фрукты с деревьев и молоко из погребов. Счастливое время. Опасное, смехотворное, иногда унылое и часто забавное — но отнюдь не горькое. Я только что рассказал вам про инцидент с хозяином; вскоре число подобных случаев возросло. Наверно, вам и это знакомо?

Я кивнул:

— Если удавалось посмотреть на них так, то часто было смешно.

— Я научился, — сказал Шварц. — Благодаря Хелен. Она больше не копила прошлое. То, что я ощущал лишь временами, стало в ней сияющей реальностью. Прошлое каждый день отламывалось от нее, как ломается лед за всадником, скачущим по Боденскому озеру. Зато все стремилось в настоящее. То, что у других распределяется по всей жизни, у нее сосредоточивалось в мгновении, но не цепенило ее. Она была совершенно раскрепощена, весела, как Моцарт, и неумолима, как смерть. Понятия морали и ответственности, в их тягостном смысле, более не существовали; их место заняли высшие, почти неземные законы. Для другого у нее не было времени. Она искрилась словно фейерверк, но без пепла. Не хотела, чтобы ее спасали; тогда я еще в это не верил. Она знала, что ее не спасти. Но поскольку я настаивал, соглашалась… и я, глупец, тащил ее по дороге скорби, по всем двенадцати остановкам, от Бордо до Байонны, а потом по бесконечному пути в Марсель и сюда.

Когда мы добрались до дворца, он оказался занят. Мы увидели мундиры, солдат, которые

волокли деревянные верстаки, и нескольких офицеров в летчицких бриджах и блестящих сапогах, которые расхаживали вокруг, как павлины.

Мы смотрели на них из парка, спрятавшись за буком и мраморной богиней. Был ласковый предвечерний час. «У нас там что-то осталось?» — спросил я.

«Яблоки на деревьях, воздух, золотой октябрь и наши грезы», — ответила Хелен.

«Их мы оставляли повсюду, — сказал я. — Как летучие осенние паутинки».

Офицер на террасе отдал несколько резких приказаний. «Голос двадцатого столетия, — сказала Хелен. — Идем. Где сегодня заночуем?»

«Выспимся где-нибудь в сене, — сказал я. — А может, и на кровати. Во всяком случае, вместе».

16

— Помните площадь перед консульством в Байонне? — спросил Шварц. — Очереди беженцев в четыре ряда, которые потом спутывались и в панике загораживали вход, отчаянно стонали, плакали и дрались за место?

— Помнится, были листочки с номерами, — ответил я.

— Они давали право стоять снаружи. Тем не менее толпа загораживала вход. Когда открывали окна, стон нарастал, превращался в крик и вой. Паспорта выбрасывали в окна. А там целый лес вытянутых рук!

Из двух женщин, которые еще не отправились на боковую, та, что посимпатичнее, подошла к нам, зевнула.

— Странные вы люди, — сказала она. — Все говорите, говорите! А нам пора спать. Если желаете посидеть где-нибудь еще, так все кафе в городе опять открыты.

Она отворила дверь. Белое и крикливое, внутрь ворвалось утро. Светило солнце. Она опять закрыла дверь. Я посмотрел на часы.

— Корабль отплывает не сегодня, — сказал Шварц. — Завтра вечером.

Я ему не поверил. Он понял.

— Идемте куда-нибудь, — сказал он.

После тишины кафе уличный шум был в первую секунду почти невыносим. Шварц остановился.

— Сплошь беготня и крик! — Он смотрел на ораву ребятишек, тащивших корзины с рыбой. — Все продолжается! Будто никто не отсутствует!

Мы спустились к гавани. Вода волновалась, дул прохладный и сильный ветер, солнце светило ярко, но не грело; такелаж скрипел, и каждый человек был очень занят утром, работой и собой. Мы скользили сквозь всю эту деловитость, словно увядшие листья.

— Вы по-прежнему не верите, что корабль отойдет только завтра? — спросил Шварц.

В беспощадном свете он выглядел до крайности усталым и осунувшимся.

— Не могу поверить, — ответил я. — Раньше вы говорили, он отплывает сегодня. Давайте спросим. Для меня это слишком важно.

— Так же важно было и для меня. А потом вдруг стало не важно.

Я не ответил. Мы пошли дальше. Внезапно

меня охватило безумное нетерпение. Плещущая, беспокойная жизнь звала. Ночь миновала. Зачем заклинать тени?

Мы остановились перед конторой, увешанной проспектами. В витрине стояла белая табличка, сообщавшая, что отплытие корабля отложено на следующий день.

— Скоро я закончу, — сказал Шварц.

Я выиграл день. Несмотря на табличку, подергал дверь. Еще заперта. Человек десять наблюдали за мной. С разных сторон приблизились на несколько шагов, когда я нажал на ручку. Эмигранты. Увидев, что дверь заперта, они отвернулись и опять сделали вид, будто рассматривают витрины.

— Вот видите, время у вас пока есть, — сказал Шварц и предложил выпить в гавани кофе.

Он торопливо глотал горячий кофе, обхватив чашку руками, словно озяб.

— Который час? — спросил он.

— Половина восьмого.

— Час, — пробормотал он. — Через час придут. — Он поднял глаза. — Я не собираюсь рассказывать вам иеремиаду. Вы так это воспринимаете?

— Нет.

— А как?

Я помедлил.

— Как историю любви.

Его лицо вдруг расправилось.

— Спасибо. — Он опять сосредоточился. — В Биаррице началась катастрофа. Я прослышал, что из Сен-Жан-де-Люс отплывет небольшое судно. Это оказалось неправдой. Вернувшись в пансион, я увидел, что Хелен с искаженным лицом лежит на полу. «Судорога, — прошептала она. — Сейчас пройдет. Оставь меня!»

«Я сейчас же вызову врача!»

«Не надо врача, — с трудом прошептала она. — Не надо. Сейчас пройдет. Уходи! Возвращайся через пять минут. Оставь меня одну! Делай, как я говорю! Не надо врача! Уходи же! — крикнула она. — Я знаю, что говорю. Приходи через десять минут. Тогда можешь…»

Она жестом велела мне уйти. Говорить уже не могла, но глаза были полны такой страшной, непонятной мольбы, что я вышел. Стоял на улице, смотрел на мостовую. Потом спросил, где здесь найти врача. Мне сказали, что некий доктор Дюбуа живет неподалеку, всего в нескольких кварталах. Я поспешил туда. Он оделся и пошел со мной.

Когда мы вернулись, Хелен лежала на кровати. Лицо было мокрое от пота, но она немного успокоилась. «Ты привел врача, — сказала она так враждебно, словно я ее злейший враг.

Танцующей походкой доктор Дюбуа шагнул ближе. «Я не больна», — сказала она.

«Мадам, — улыбнулся Дюбуа, — не лучше ли предоставить судить об этом врачу?»

Он открыл сумку, достал инструменты.

«Оставь нас одних», — сказала мне Хелен.

В замешательстве я вышел вон. Вспомнил, что говорил врач в лагере. Бродил взад-вперед по улице, смотрел на мишленовский плакат на гараже напротив. Толстяк из резиновых шлангов обернулся зловещим знаком из кишок и ползучих белых червей. Из гаража доносился перестук молотков, словно кто-то сколачивал железный гроб, и внезапно я осознал, что над нами уже давно нависала угроза, блеклый фон, на котором наша жизнь приняла более четкие очертания, как лес на солнце перед грозовой тучей.

В конце концов Дюбуа вышел. Подбородок его украшала острая бородка, и был это, вероятно, курортный врач, который прописывал простенькие средства от кашля и похмелья. Завидев его, я пал духом. В Биаррице межсезонье, наверно, он

будет рад, сколько бы я ему ни предложил. «Ваша супруга…» — начал он.

Я неотрывно смотрел на него: «Что? Говорите, черт побери, правду или вообще молчите».

Тонкая, очень красивая улыбка на мгновение совершенно его изменила. «Вот, — сказал он, достал бланки рецептов, написал что-то неразборчивое. — Вот! Купите в аптеке. И заберите у них рецепт, когда получите лекарство. Вы сможете пользоваться им неоднократно. Я сделал пометку».

Я взял белый листок, спросил: «Что это?»

«Вам ничего здесь не изменить. Не забудьте! Вам ничего не изменить!»

«Что это? Я хочу знать правду, не надо секретов!»

Он не ответил. «Когда понадобится, ступайте в аптеку, — сказал он. — Вам дадут то, что нужно».

«Что это?»

«Сильное успокоительное. Отпускается только по рецепту врача».

Я взял бумагу. «Сколько я вам должен?»

«Нисколько».

Танцующей походкой он удалился. На углу еще раз обернулся: «Купите его и положите в таком месте, где ваша жена сможет найти. Но не гово-

рите с ней об этом. Она все знает. Поразительная женщина».

«Хелен, — сказал я ей. — Что все это значит? Ты больна. Почему ты не хочешь поговорить со мной?»

«Не мучай меня, — очень устало ответила она. — Позволь мне жить так, как я хочу».

«Не хочешь поговорить со мной об этом?»

Она покачала головой: «Тут не о чем говорить».

«Я не могу тебе помочь?»

«Нет, любимый. На сей раз не можешь. Если б ты мог, я бы сказала».

«У меня остался последний Дега. Можно продать его здесь. В Биаррице есть богачи. Мы выручим за него достаточно денег, чтобы положить тебя в больницу».

«Чтобы меня засадили? Да и толку не будет. Поверь!»

«Все так плохо?»

Она смотрела на меня так затравленно и безутешно, что я прекратил расспросы. Решил позднее сходить к доктору и еще раз с ним поговорить.

Шварц умолк.

— У нее был рак? — спросил я.

Он кивнул.

— Мне бы следовало давным-давно догадаться. Она ездила в Швейцарию, и ей сказали тогда, что можно сделать повторную операцию, но толку не будет. Ее ведь уже оперировали; я видел шрам. Профессор не скрыл от нее правду. Она могла выбрать между еще несколькими бесполезными операциями и коротким кусочком жизни без больницы. Он объяснил ей и что невозможно с определенностью сказать, продлит ли больница ей жизнь. И она решила обойтись без операций.

— И не хотела говорить вам об этом?

— Да. Она ненавидела свою болезнь. Пыталась ее игнорировать. Чувствовала себя осквернен-ной, словно внутри у нее ползали черви. Ей казалось, болезнь — это студенистая тварь, кото-рая живет в ней и растет. Она думала, что станет мне противна, если я об этом узнаю. А может быть, все-таки надеялась подавить болезнь, не принимая ее к сведению.

— Вы никогда не говорили с ней об этом?

— Почти никогда, — сказал Шварц. — Она гово-рила с Дюбуа, а я позднее заставил его рассказать обо всем. От него и получал потом лекарства. Он объяснил мне, что боли будут усиливаться, однако возможно, что все кончится быстро и

милосердно. С Хелен я не говорил. Она не хотела. Грозила покончить с собой, если я не оставлю ее в покое. И я сделал вид, что верю ей… что это безобидные судороги.

Нам необходимо было уехать из Биаррица. Мы обманывали друг друга. Хелен следила за мной, я — за ней, но вскоре обман приобрел странную власть. Первым делом он уничтожил то, чего я больше всего боялся: представление о времени. Деление на недели и месяцы распалось, и страх перед краткостью срока, который нам оставался, сделался от этого прозрачным, как стекло. Страх более не застил, а скорее защищал наши дни. Все, что могло помешать, отскакивало от него, внутрь не попадало. Приступы отчаяния случались со мной, когда Хелен спала. Тогда я смотрел на ее лицо, которое тихонько дышало, смотрел на свои здоровые руки и понимал ужасающее одиночество, на какое нас обрекает наша кожа, раздел, через который не перекинуть мост. Ни одна капля моей здоровой крови не могла спасти любимую больную кровь. Это непостижимо, и смерть непостижима.

Мгновение становилось всем. Утро лежало в бесконечной дали. Когда Хелен просыпалась, начинался день, а когда спала и я чувствовал

ее рядом, начинались переливы надежды и безутешности, планов, выстроенных на песке грез, прагматических чудес и философии, еще обладания и закрывания глаз, но на рассвете все они гасли и тонули в тумане.

Похолодало. Я носил при себе Дега, который воплощал деньги на переезд в Америку, и сейчас бы с радостью продал его, но в маленьких городках и деревнях не находилось желающих заплатить за него. Случалось, мы работали, то тут, то там. Я освоил работу в поле. Рыхлил, копал — хотел что-нибудь делать. Таких, как мы, было много. Я видел, как профессора пилили дрова, а оперные певцы окучивали свеклу. Ну а крестьяне есть крестьяне, они не упускали случая использовать дешевую рабочую силу. Одни немножко платили, другие давали еду и какой-никакой ночлег. Третьи гнали просителей прочь. Так мы шли-ехали в Марсель. Вы были в Марселе?

— А кто там не был? — сказал я. — Охотничьи угодья жандармов и гестапо. Они отлавливали эмигрантов возле консульств, как зайцев.

— И нас чуть не поймали, — сказал Шварц. — Причем префект из марсельского Service

étrangers[26] делал все, чтобы спасти эмигрантов. Я по-прежнему был одержим мыслью добыть американскую визу. Мне казалось, она даже рак остановит. Вы ведь знаете, визу не выдавали, если не удавалось доказать, что ты в большой опасности или включен в Америке в список известных деятелей искусства, ученых и интеллектуалов. Словно мы все не были в опасности… словно человек не человек! Разве различие между важными и обычными людьми не есть отдаленная параллель сверхчеловекам и недочеловекам?

— Они не могут принять всех, — возразил я.

— Да? — спросил Шварц.

Я не ответил. Что тут ответишь? «Да» и «нет» равнозначны.

— Почему бы тогда не принять самых одиноких и покинутых? — спросил Шварц. — Тех, у кого нет ни имени, ни заслуг?

Я опять не ответил. Шварц имел две американские визы — куда он клонит-то? Разве он не знал, что Америка давала визу каждому, за кого кто-нибудь в стране ручался, что он не станет обузой для государства?

Он сказал об этом в следующий миг:

---

[26] Примечания: 26
Департамент по делам иностранцев (*фр.*).

— Я никого за океаном не знаю, но мне дали адрес в Нью-Йорке. Я написал — туда и еще в другие места. Обрисовал наше положение. Потом кто-то из знакомых сказал мне, что я действовал неправильно: больных в Соединенные Штаты не пускают. Тем более неизлечимых. Я должен выдать Хелен за здоровую. Хелен подслушала часть нашего разговора, что было неизбежно, — в этом безумном улье, Марселе, все говорили только об одном.

В тот вечер мы сидели в ресторане поблизости от улицы Каннебьер. По городу гулял ветер. Я не пал духом. Надеялся найти человечного врача, который выпишет справку, что Хелен здорова. Мы по-прежнему играли в привычную игру: что верим друг другу, что я ни о чем не знаю. Я написал префекту ее лагеря, попросил подтвердить, что мы в опасности. Мы нашли комнатушку, я достал недельное разрешение на жительство и ночами нелегально работал судомоем в ресторане, у нас было немного денег, и по рецепту Дюбуа некий аптекарь выдал мне десять ампул морфия, иначе говоря, пока мы ни в чем не нуждались.

Мы сидели в ресторане у окна, смотрели на улицу. Вполне позволительная роскошь, ведь мы могли целую неделю не прятаться. Как вдруг

Хелен испуганно схватила меня за руку. Она смотрела в ветреную тьму. «Георг!» — прошептала она.

«Где?»

«Вон там, в открытой машине. Я узнала его. Он как раз проезжал мимо».

«Ты точно его узнала?»

Она кивнула.

Мне это казалось почти невозможным. Я попробовал разглядеть людей в проезжающих мимо автомобилях. Не сумел, но тревога не унялась.

«С какой стати он должен быть именно в Марселе?» — спросил я и тотчас сообразил, что, коль скоро он где-то должен быть, то, конечно же, в Марселе — последнем пристанище эмигрантов из Франции.

«Нам необходимо уехать отсюда», — сказал я.

«Куда?»

«В Испанию».

«Разве Испания не еще опаснее?»

Ходили слухи, что в Испании гестапо хозяйничает как дома и что эмигрантов хватают и сдают властям, но слухов в ту пору ходило огромное количество, и принимать их все на веру было невозможно.

Я снова испробовал старый прием: испанскую

транзитную визу, которую выдавали только при наличии португальской, что опять-таки зависело от визы в другую страну. Вдобавок надо было справиться еще и с самой загадочной из всех бюрократических каверз — получить выездную французскую визу.

Однажды вечером нам повезло. С нами заговорил какой-то американец. Он был слегка навеселе и искал, с кем бы поболтать по-английски. Через несколько минут он сидел за нашим столиком и угощал нас вином. Молодой парень, лет двадцати пяти, он ждал парохода, чтобы вернуться в Америку. «Почему бы и вам не уехать?» — спросил он.

Я помолчал. Наивный вопрос словно разорвал скатерть между нами. Напротив сидел человек с другой планеты. Для него отъезд был столь же естествен, как разговор, для нас же недостижим, как созвездие Плеяд. «У нас нет виз», — в конце концов сказал я.

«Так получите их завтра. В нашем консульстве здесь, в Марселе. Там очень милые люди».

Я знал этих милых людей. Полубоги; чтобы увидеть хотя бы их секретарей, приходилось часами ждать на улице. Позднее разрешили ждать в подвале, потому что на улице эмигрантов нередко

ловили гестаповцы.

«Завтра я схожу с вами туда», — сказал американец.

«Хорошо», — ответил я, но не поверил ему.

«Давайте за это выпьем».

Мы выпили. Я смотрел на свежее, простодушное лицо и едва мог вынести это зрелище. Хелен в этот вечер, когда американец рассказывал нам о море огней на Бродвее, казалась почти прозрачной. Сказочные истории в мрачном городе. Я видел лицо Хелен, когда звучали имена актеров, названия спектаклей и ресторанов, когда речь шла обо всей этой приятной суматохе в городе, который никогда не знал войны; я чувствовал себя паршиво и вместе с тем радовался, что она слушает, ведь до сих пор она встречала все, что касалось Америки, со странной молчаливой пассивностью. В табачном дыму ресторана ее лицо мало-помалу оживало, она смеялась и обещала пойти с молодым человеком на некий спектакль, который он особенно любил, мы пили, прекрасно зная, что завтра все будет забыто.

Но нет, не забыто. В десять часов американец зашел за нами. Я мучился похмельем, а Хелен идти отказалась. Под дождем мы приблизились к плотной толпе эмигрантов. Точно во сне, прошли

сквозь нее, она расступилась перед нами, как Чермное море перед израильскими эмигрантами фараона. Зеленый паспорт американца был сказочным золотым ключиком, который отворял все двери.

Случилось непостижимое. Услышав, в чем загвоздка, молодой человек непринужденно заявил, что готов за нас поручиться. Полный абсурд, подумал я, ведь он так молод. Мне казалось, для этого он должен быть постарше меня. В консульстве мы провели около часа. Уже за несколько недель до того я написал им, почему мы в опасности. С трудом, благодаря вторым и третьим лицам, получил через Швейцарию подтверждение, что, во-первых, сидел в Германии в лагере, а во-вторых, что Георг разыскивает Хелен и меня, чтобы вернуть в страну. Мне велели зайти на следующей неделе. На улице молодой американец пожал мне руку. «Очень приятно, что мы встретились. Вот, — он достал визитную карточку, — позвоните мне, когда будете в Нью-Йорке».

Он кивнул мне и хотел уйти. «А если что-нибудь случится? Если вы мне еще понадобитесь?» — спросил я.

«Что может случиться? Все в порядке. — Он рассмеялся. — Мой отец — человек весьма из-

вестный. Я слыхал, завтра отходит судно в Оран, хочу съездить туда перед возвращением. Кто знает, когда я опять приеду. Лучше посмотреть все, что можно».

Он исчез. Пять-шесть эмигрантов окружили меня, допытываясь про его имя и адрес; они догадывались, что произошло, и хотели для себя того же. Когда я ответил, что не знаю, где он живет в Марселе, они меня обругали. А я вправду не знал. Показал им карточку с американским адресом. Они его записали. Сказал им, что все без толку, он собирается в Оран. Они объявили, что в таком случае будут ждать его возле судна. Домой я вернулся в двойственном настроении. Может, я все испортил, показав им карточку, но в тот миг я был растерян, и чем дальше я шел, тем безнадежнее представлялось мне все вообще.

Я так и сказал Хелен. Она улыбнулась. Тем вечером она была очень кроткой. В маленькой комнатушке, которую мы сняли у арендатора — вы ведь знаете адреса, что передаются из уст в уста, — без устали распевала зеленая канарейка, уход за которой мы взяли на себя. Чужая кошка снова и снова приходила по соседним крышам и сидела на окне, устремив неподвижный взгляд желтых глаз на птичку в подвешенной к потолку

клетке. Несмотря на холод, Хелен не закрывала окна. Я знал, что ее мучают боли, это один из признаков.

Дом затих поздно. «Ты еще помнишь маленький дворец?» — спросила Хелен.

«Помню так, словно мне о нем рассказывали, — ответил я. — Словно там жил не я, а кто-то другой».

Она взглянула на меня. «Возможно, так оно и есть. У каждого человека много личностей. Совершенно разных. Иногда они становятся самостоятельны и на время забирают власть, и ты совсем другой человек, которого знать не знал. Но прежний возвращается. Разве нет?» — настойчиво спросила она.

«Во мне отродясь не было нескольких личностей, — сказал я. — Я всегда один и тот же».

Она резко тряхнула головой. «Как ты ошибаешься! Придет время, и ты заметишь, как ошибаешься».

«Что ты имеешь в виду?»

«Забудь. Глянь на кошку в окне! И на ничего не подозревающую поющую птичку! Жертва ликует, да как!»

«Кошке никогда до нее не добраться. В клетке птица в безопасности».

Хелен расхохоталась.

«В клетке в безопасности, — повторила она. — Кому хочется безопасности в клетке?»

Под утро мы проснулись. Консьержка ругалась и кричала. Я открыл дверь, одетый и готовый к бегству, однако полиции не увидел. «Кровища! — кричала консьержка. — Другого места не нашла? Вот свинство! А теперь заявится полиция! И все оттого, что относишься к людям по-доброму! Тебя используют! И квартирную плату она за пять недель задолжала!»

В узком сумеречно-сером коридоре толпились соседи, заглядывая в соседнюю комнату. Там покончила с собой женщина лет шестидесяти. Перерезала вену на левой руке. Кровь по кровати стекла на пол. «Сходите за врачом», — сказал Лахман, эмигрант из Франкфурта, торговавший в Марселе четками и образками святых.

«Врача! — запричитала консьержка. — Она уже несколько часов мертва, неужто не видите? Вот так и бывает, когда пускаешь вашего брата! Теперь заявится полиция! Пускай вас всех арестует! А кровать… кто все это уберет?»

«Мы можем все убрать, — сказал Лахман. — Только давайте без полиции!»

«А квартплата? Как насчет квартплаты?»

«Мы соберем деньги, — сказала старуха в красном кимоно. — Куда нам иначе деваться? Имейте сочувствие!»

«Я сочувствовала! А меня просто используют, вот и все! Какие ж у нее вещи? Да никаких!»

Консьержка шарила по комнате. Единственная голая лампочка светилась тусклым желтым светом. Под кроватью стоял чемодан из самой дешевой вулканизированной фибры. Присев на корточки в изножье железной кровати, где не было крови, консьержка вытащила чемодан. Толстой задницей, обтянутой полосатым домашним платьем, она походила на огромное мерзкое насекомое, которое собирается сожрать свою добычу. Открыла чемодан. «Ничего! Рвань какая-то! Худые туфли».

«Вон там, смотрите!» — сказала старуха. Ее звали Люция Лёве, она нелегально продавала бракованные чулки и склеивала разбитый фарфор.

Консьержка открыла коробочку. На розовой вате лежали цепочка и кольцо с маленьким камешком.

«Золото? — спросила толстуха. — Наверняка просто позолоченные!»

«Золото», — сказал Лахман.

«Будь это золото, она бы его продала, — сказала

консьержка, — прежде чем кончать с собой».

«Такое не всегда совершают от голода, — спокойно отозвался Лахман. — Это золото. А камешек — рубин. Стоят по меньшей мере семьсот-восемьсот франков».

«Чепуха!»

«Если хотите, могу продать для вас».

«И заодно охмурить меня, да? Нет уж, милый мой, не на ту напали!»

Вызвать полицию ей все же пришлось. Никуда не денешься. Эмигранты, жившие в доме, тем временем исчезли. Большинство отправилось по обычным маршрутам — в консульства, или что-нибудь продать, или искать работу, а иные в ближайшую церковь, чтобы дождаться вестей от собрата, оставленного на уличном углу в качестве дозорного. Церкви были безопасны.

Там как раз служили мессу. В боковых проходах сидели перед исповедальнями женщины — темные холмики в черных платьях. Неподвижными огоньками горели свечи, играл орган, свет искрился на золотом кубке, который поднимал священник и в котором была кровь Христа, принесшего ею избавление миру. К чему это привело? К кровавым крестовым походам, религиозному фанатизму, пыткам инквизиции, сожжениям

ведьм и убийствам еретиков — все во имя любви к ближнему.

«Может, пойдем на вокзал, а? — предложил я Хелен. — В зале ожидания теплее, чем здесь, в церкви».

«Погоди еще минутку».

Она прошла к скамье под кафедрой, преклонила колени. Не знаю, молилась ли она и кому молилась, но мне самому вдруг вспомнился тот день, когда я ждал ее в оснабрюкском соборе. Тогда я встретился с человеком, которого не знал и который день ото дня становился и незнакомее, и знакомее. Теперь было так же, но она ускользала от меня, я чувствовал, ускользала туда, где уже нет имен, одна только тьма и, быть может, неведомые законы тьмы… она этого не желала и возвращалась, но уже не принадлежала мне так, как я хотел думать, пожалуй, так она не принадлежала мне никогда; кто кому принадлежит и что значит — принадлежать друг другу, обывательское название безнадежной иллюзии? Однако, когда она, по ее словам, возвращалась — на один час, на один взгляд, на одну ночь, я казался себе бухгалтером, которому до́лжно не подсчитывать, а без вопросов принимать все, что для него являет собой ускользающая, несчастная,

любимая, про́клятая! Знаю, для этого есть иные названия, ничего не стоящие, скоропалительные и критические… но они годятся для других обстоятельств и для людей, полагающих, будто их эгоистичные законы суть вотивные таблички Господа. Одиночество ищет спутника и не спрашивает, кто он. Кому это непонятно, тот никогда не был одинок, просто был один.

«О чем ты молилась?» — спросил я и сразу пожалел, что спросил.

Хелен как-то странно посмотрела на меня. «О визе в Америку», — сказала она, и я понял, что она лжет. На секунду подумал, что она молилась о прямо противоположном, потому что постоянно чувствовал ее пассивное сопротивление отъезду. «Америка? — сказала она однажды ночью. — Что тебе там нужно? Зачем бежать в такую даль? В Америке вновь будет другая Америка, куда тебя потянет, потом новая чужбина, разве ты не понимаешь?» Она уже не хотела новизны. Ни во что уже не верила. Смерть, пожиравшая ее, более не желала бегства. Командовала ею, как вивисектор, наблюдающий, что происходит, если изменить и разрушить один орган, и еще один, одну клетку, и еще одну. Болезнь разыгрывала с нею жестокий маскарад, вроде того безобидного,

какой мы устраивали во дворце, и порой на меня сверкающими глазами на узеньком лице смотрел человек, меня ненавидящий, а порой — беззаветно преданный, порой до ужаса храбрый игрок, порой женщина, сплошь состоящая из голода и отчаяния, а в конце концов вновь человек, который лишь через меня возвращался из тьмы и был за это благодарен в своем испуганном и бесстрашном ужасе перед угасанием.

Пришел дозорный, сообщил, что полиция уехала.

«Надо было пойти в музей, — сказал Лахман, — там топят».

«Здесь есть музей?» — спросила молодая горбунья; ее мужа арестовали жандармы, и она уже полтора месяца ждала его.

«Конечно».

Я невольно подумал о покойном Шварце и спросил у Хелен: «Пойдем туда?»

«Не сейчас. Идем обратно».

Я не хотел, чтобы она еще раз увидела покойницу, но она стояла на своем. Когда мы вернулись, консьержка уже успокоилась. Вероятно, успела оценить цепочку и кольцо. «Бедная женщина, — сказала она. — У нее теперь даже имени нет».

«У нее что же, не было документов?»

«Только sauf-conduit[27]. Его забрали другие, еще до приезда полиции, жребий тянули, кому он достанется. Выиграла рыжая малютка».

«А, ну да, конечно, у нее ведь вообще нет документов. Покойница наверняка не стала бы возражать».

«Хотите ее увидеть?»

«Нет», — сказал я.

«Да», — сказала Хелен.

Я пошел с ней. Покойница истекла кровью до последней капли. Когда мы поднялись наверх, две эмигрантки как раз ее обмывали. Переворачивали, как белую доску. Волосы свисали до полу. «Вон!» — прошипела мне одна.

Я вышел. Хелен осталась. Немного погодя я вернулся за нею. Она стояла одна в узкой комнатушке, у изножия кровати и смотрела на белое, запавшее лицо, один глаз на котором был приоткрыт. «Идем», — сказал я.

«Вот как выглядит конец, — прошептала она. — Где ее похоронят?»

«Не знаю. Там, где хоронят бедняков. Если придется платить, консьержка будет собирать деньги».

---

[27] Примечания: 27
Пропуск (*фр.*).

Хелен промолчала. В открытое окно задувал холод. «Когда ее похоронят?» — спросила она.

«Завтра или послезавтра. А может, заберут на вскрытие».

«Зачем? Они разве не верят, что она покончила с собой?»

«Да нет, вряд ли не верят».

Подошла консьержка. «Завтра ее заберут в клинику на вскрытие. На таких трупах молодые врачи учатся оперировать. Ей без разницы, а им не придется тратить деньги. Хотите чашечку кофе?»

«Нет», — сказала Хелен.

«А я выпью, — сказала консьержка. — Странно, сколько от этого волнений, да? А ведь мы все умрем».

«Да, — сказала Хелен. — Но никто не хочет в это верить».

Ночью я проснулся. Хелен сидела на кровати и словно прислушивалась. «Ты тоже чуешь?» — спросила она.

«Что?»

«Покойницу. Ее запах. Закрой окно».

«Никакого запаха нет, Хелен. Не так это быстро».

«Нет, есть».

«Наверно, это из-за веток». Эмигранты скинулись и поставили возле покойницы несколько лавровых веточек и свечу.

«Зачем они поставили там ветки? Завтра ее разрежут на куски, а потом бросят эти куски в ведро и продадут на корм животным».

«Не продадут. Сецированный труп сожгут или захоронят», — сказал я, обняв Хелен за плечи. Она высвободилась. «Я не хочу, чтобы меня резали на куски».

«Да с какой стати тебя станут резать на куски?»

«Обещай мне», — сказала она, не слушая.

«Конечно, обещаю».

«Закрой окно. Я опять чую этот запах».

Я встал, закрыл окно. В небе ярко сияла луна, у окна сидела кошка. Она фыркнула и скакнула прочь, когда створка окна задела ее. «Что это было?» — спросила у меня за спиной Хелен.

«Кошка».

«Она тоже чует, видишь?»

Я обернулся. «Она сидит здесь каждую ночь, ждет, что канарейка выберется из клетки. Спи, Хелен. Тебе приснился сон. Досюда не достигают никакие запахи из той комнаты».

«Тогда пахнет от меня?»

Я воззрился на нее. «Ни от кого здесь не пахнет, Хелен, тебе приснилось».

«Если не от нее, то, значит, от меня. Кончай врать!» — неожиданно резко бросила она.

«Господи, Хелен, ни от кого тут не пахнет! Если б чем-то и могло пахнуть, то чесноком из ресторана внизу. Вот! — Я взял флакончик одеколона (в ту пору я торговал им из-под полы) и побрызгал в комнате. — Ну вот, теперь воздух свежий».

Она по-прежнему сидела в постели. «Значит, признаёшь, — сказала она. — Иначе бы не стал брызгать одеколоном».

«Тут нечего признавать. Я просто хотел тебя успокоить».

«Я знаю, что ты так думаешь, — сказала она. — Думаешь, что от меня пахнет. Как от той, от соседки. Не лги! Я по твоим глазам вижу, давно уже! Думаешь, я не чувствую, как ты на меня смотришь, когда воображаешь, что я не вижу! Знаю, я тебе противна, я это знаю, вижу, чувствую каждый день. Знаю, что́ ты думаешь! Ты не веришь тому, что говорят врачи! Ты веришь кой-чему другому и думаешь, что можешь учуять запах, и я тебе противна! Почему бы не сказать честно?»

Некоторое время я стоял не шевелясь. Если ей

есть что еще сказать, пусть говорит. Но Хелен молчала. Я чувствовал, как она дрожит. Она сидела в постели, расплывчатая, бледная, склоненная фигура, опирающаяся на руки, с огромными глазами в темных глазницах и с ярко накрашенными губами (уже который день она красила губы и перед сном), и смотрела на меня — как раненый зверек, который вот-вот бросится на меня.

Успокоилась она далеко не сразу. В конце концов я спустился на второй этаж к Бауму и купил у него фляжечку коньяка. Мы сидели на кровати, пили коньяк и ждали утра. Санитары, забиравшие покойницу, явились спозаранку. Тяжелыми башмаками протопали вверх по лестнице. Носилки задевали за стены узкого коридора. Их шуточки глухо доносились сквозь тонкую стену. Часом позже пришли новые жильцы.

17

— Несколько дней я торговал кухонной утварью, жестяными терками, ножами, овощерезками и прочей мелочью, для которой не требуется подозрительного чемодана. Дважды я возвращался в нашу комнату раньше обычного и не заставал Хелен. Ждал и тревожился, но консьержка говорила, что за ней никто не приходил. Она просто ушла несколько часов назад. Так бывало довольно часто.

Вернулась она поздно вечером. Лицо замкнутое. На меня даже не посмотрела. Я не знал, что делать, но не спросить было бы еще более странно, чем спросить. Так что я все-таки спросил: «Где ты была, Хелен?»

«Гуляла», — ответила она.

«В такую погоду?»

«Да, в такую погоду. Не контролируй меня!»

«Я не контролирую. Просто боялся, что тебя схватила полиция».

Она резко засмеялась: «Меня полиция больше не схватит».

«Хотелось бы верить».

Она воззрилась на меня. «Если продолжишь расспросы, я опять уйду. Терпеть не могу, когда за мной все время следят, неужели непонятно? Домá на улице за мной не следят! Им нет до меня дела. И прохожим нет до меня дела. Они не задают вопросов и не следят за мной!»

Мне стало ясно, к чему она клонит. На улице никто не знал о ее болезни. Там она была не пациенткой, а просто женщиной. И хотела оставаться женщиной. Хотела жить. Быть пациенткой означало для нее — медленно умирать.

Ночами она плакала во сне. А утром все забывала. Она не выносила сумерек. Они ложились на ее испуганную душу как отравленная паутина. Я видел, что ей требуется все больше наркотиков. Спросил Левисона, бывшего врача, промышлявшего теперь гороскопами. Он сказал, что для чего-либо другого давно уже слишком поздно. Повторил слова Дюбуа.

Отныне Хелен часто приходила домой поздно. Боялась моих расспросов. Но я не расспрашивал. Однажды, когда я был один, принесли букет роз. Я ушел, а когда вернулся, он исчез. Она начала пить. Несколько человек почли своим долгом сообщить мне, что видели ее в барах, не в одиночестве. Я цеплялся за американское консульство.

У меня уже было разрешение ожидать в передней, но дни шли, и ничего не происходило.

Потом меня поймали. В двадцати метрах от консульства полиция вдруг перекрыла все доступы. Я попытался добраться до консульства, но только вызвал подозрения. Тот, кто находился в консульстве, был спасен. Увидев, как Лахман исчез за дверью, я вырвался, пробился сквозь оцепление и упал, потому что жандарм подставил мне ножку. «Этого заберите в любом случае! — сказал улыбающийся человек в штатском. — Очень уж он спешит!» Они проверили наши документы. Шестерых арестовали. Полиция ушла. Неожиданно мы очутились в окружении штатских. Нас оттеснили подальше, затолкали в крытый грузовик и отвезли в какой-то дом в предместье, уединенно стоявший в саду. Прямо как в плохом фильме, — сказал Шварц. — Но ведь и последние девять лет сплошь были халтурным, кровавым фильмом?

— Гестапо? — спросил я.

Шварц кивнул.

— Сегодня мне кажется чудом, что меня не схватили еще раньше. Я знал, что Георг не перестанет искать нас. Улыбающийся молодой человек так и заявил, когда у меня отобрали документы. К

несчастью, среди них был и паспорт Хелен, я захватил его с собой в консульство. «Наконец-то изловили одну из наших рыбок, — сказал молодой человек. — Скоро и вторая приплывет. — Он улыбнулся и рукой в перстнях ударил меня по лицу. — Не так ли, Шварц?»

Я утер кровь, брызнувшую из разбитой перстнями губы. В комнате находились еще двое в штатском.

«Или, может, вы сами сообщите нам адрес?» — спросил улыбающийся молодой человек.

«Я его не знаю, — ответил я. — Я сам ищу жену. Неделю назад мы поссорились, и она сбежала».

«Поссорились? Какой ужас! — Молодой человек опять ударил меня по лицу. — Вот, в наказание!»

«Устроим ему качели, шеф?» — спросил один из молодчиков, стоявших у меня за спиной.

Молодой человек с девичьим лицом опять улыбнулся: «Объясните ему, что такое качели, Мёллер».

Мёллер объяснил, что мои гениталии обвяжут телефонным проводом, а потом станут меня раскачивать.

«Вам это знакомо? Вы ведь уже побывали в лагере?» — спросил молодой человек.

С этим я пока не сталкивался. «Мое изобре-

тение, — сказал он. — Но для начала можно поступить проще. Мы просто перевяжем ваше достоинство так туго, что перекроем доступ крови. Представляете, как вы через час будете вопить! А чтобы вы помалкивали, набьем вам ротик стружкой».

У него были странно стеклянные голубые глаза. «У нас много превосходных приемчиков, — продолжал он. — Знаете, сколько всего можно сделать огоньком?»

Молодчики заржали.

«Тоненькой раскаленной проволочкой, — сказал улыбающийся молодой человек. — Введешь ее не спеша в уши или через ноздри вверх — и много чего добьешься, черный Шварц! Самое замечательное, что вы теперь целиком и полностью в нашем распоряжении, для опытов».

Он с силой наступил мне на ноги. Я почуял его одеколон, когда он стал вплотную передо мной. Я не шевелился. Знал, что сопротивляться бесполезно, а еще бесполезнее разыгрывать храбреца. Мои мучители с величайшим удовольствием все это поломают. И при следующем ударе, нанесенном стеком, я со стоном упал. Они захохотали. «Взбодрите его, Мёллер», — сказал молодой человек вкрадчивым голосом.

Мёллер затянулся сигаретой, наклонился ко мне и поднес ее к моему веку. Боль была такая, словно он ткнул в глаз огнем. Все трое захохотали. «Вставай, малыш», — сказал улыбчивый.

Я с трудом поднялся на ноги. И едва выпрямившись, получил новый удар. «Это упражнения для разогрева, — пояснил он. — Время у нас есть, целая жизнь, ваша жизнь, Шварц. Симульнете еще раз, будет волшебный сюрприз. На четвереньках в воздух взлетите».

«Я не симулирую, — ответил я. — У меня больное сердце. Возможно, в следующий раз я вообще не встану, что бы вы ни делали».

Улыбчивый обернулся к молодчикам. «У нашего малютки больное сердце, неужто правда?»

Он опять нанес мне удар, но я чувствовал, что произвел впечатление. Передать меня Георгу мертвым он не мог. «Еще не вспомнили адресок? — спросил он. — Проще назвать его сейчас, а не позже, когда останетесь без зубов».

«Я его не знаю. Хотел бы знать».

«Наш малыш — герой. Какая прелесть! Жаль, кроме нас, никто этого не увидит».

Он пинал меня, пока не устал. Я лежал на полу, пытаясь защитить лицо и гениталии. «Так, — наконец сказал он, — а теперь запрем нашего

красавчика в погреб. Потом поужинаем и возьмемся за него как следует. Отличное ночное заседание!»

Знакомая песня. Вместе с Шиллером и Гёте это относилось к культуре фаустовского человека, и в лагере в Германии я все это испытал. Но у меня был с собой яд, обыскали меня небрежно и ампулу не нашли. Кроме того, в отвороте брюк я зашил лезвие, вставленное в кусок пробки, его тоже не нашли.

Я лежал в темноте. Странно, что отчаяние в подобных ситуациях возникает поначалу не оттого, что тебя ждет, а оттого, что так глупо попался.

Лахман видел, как меня схватили. Правда, он не знал, что это гестапо, поскольку все произошло вроде как при участии французской полиции, однако, если я не вернусь максимум через день, Хелен попытается связаться со мной через полицию и, вероятно, узнает, кто держит меня под арестом. Тогда она приедет. Вопрос в том, станет ли смехач дожидаться. Я предполагал, что он незамедлительно информирует Георга. Если тот в Марселе, значит, вечером допросит меня сам.

Георг был в Марселе. Хелен тогда не обозналась. Приехал и взял меня в оборот. Не буду говорить об этом. Когда я терял сознание, меня отлива-

ли водой. Потом отволокли обратно в подвал. Только яд, который был у меня, давал мне силы выдержать происходившее. К счастью, Георгу не хватало терпения на изощренные пытки, которые сулил мне смехач, хотя по-своему и он был не промах.

Ночью он явился еще раз, — сказал Шварц. — Сел, расставив ноги, на табуретку передо мной — воплощение абсолютной власти, которую, как нам казалось, мы преодолели еще в девятнадцатом веке и которая тем не менее стала символом века двадцатого… может быть, именно поэтому. В этот день я видел две манифестации зла — смехача и Георга, злодея аболютного и злодея брутального. Если проводить различие, из них двоих смехач был худшим, он мучил из удовольствия, другой же — чтобы добиться своего. Тем временем у меня сложился план. Необходимо найти способ выбраться из этого дома, вот почему, когда Георг сидел передо мной, я сделал вид, что совершенно сломлен. И заявил, что готов сказать все, если он меня пощадит. На его лице играла сытая, презрительная ухмылка человека, который никогда не бывал в подобной ситуации и оттого уверен, что выдержал бы ее как хрестоматийный герой. Такие типы всегда не

выдерживают.

— Знаю, — кивнул я. — Я видел, как выл гестаповский офицер, прищемив себе палец, когда стальной цепью убивал человека. Тот, кого убивали, молчал.

— Георг пнул меня сапогом, — сказал Шварц. — «Ты еще и условия вздумал ставить, а?» — спросил он.

«Я условий не ставлю, — ответил я. — Но если вы увезете Хелен в Германию, она снова сбежит или покончит с собой».

«Бред!» — буркнул Георг.

«Хелен довольно-таки безразлична к жизни, — сказал я. — Она знает, что у нее неизлечимый рак».

Он уставился на меня: «Врешь, сволочь! У нее женская болезнь, а не рак!»

«У нее рак. Это выяснилось при первой операции в Цюрихе. Уже тогда было поздно. Ей прямо сказали об этом».

«Кто?»

«Тот, кто ее оперировал. Она хотела знать».

«Вот скотина! — рявкнул Георг. — Но я и этого мерзавца сцапаю! Через год Швейцария будет немецкой! Зверюга!»

«Я хотел, чтобы Хелен вернулась домой, — ска-

зал я. — Она отказалась. Но мне кажется, она бы согласилась, скажи я ей, что мы должны расстаться».

«Смешно!»

«Я мог бы обставить все настолько омерзительно, что она бы на всю жизнь меня возненавидела», — сказал я.

Было видно, что Георг напряженно размышляет. Я подпер голову руками и наблюдал за ним. Даже лоб над переносицей заболел, так я старался внушить ему свою волю.

«Как?» — наконец спросил он.

«Она боится, что, зная о ее болезни, я испытываю к ней отвращение. Если я скажу ей об этом, между нами все будет кончено навсегда».

Георг размышлял. Я мог проследить каждую его мысль. Он понимал, что это предложение ему как нельзя более выгодно. Даже если он пытками выбьет из меня адрес Хелен, она только сильнее возненавидит его; а вот если я поведу себя по отношению к ней как мерзавец, она возненавидит меня, а он сможет выступить в роли избавителя: дескать, что я тебе говорил?

«Где она живет?» — спросил он.

Я назвал фальшивый адрес. «В доме штук пять выходов, — сказал я, — через подвал и переулки.

Она легко может скрыться, если придет полиция. И не сбежит, если приду один я».

«Или я», — вставил Георг.

«Она подумает, вы меня убили. У нее есть яд».

«Чепуха!»

Я ждал. «И что ты хочешь взамен?» — спросил Георг.

«Чтобы вы меня отпустили».

Секунду он усмехался. Казалось, зверь скалит зубы. Я тотчас понял, что он нипочем меня не отпустит. «Ладно, — сказал он, помолчав. — Поедешь со мной. И чтобы без фокусов. Скажешь все при мне». Я кивнул. «Пошли! — Он встал. — Умойся вон там под краном».

«Я забираю его с собой», — сказал он молодчику, который бездельничал в комнате, увешанной оленьими рогами. Тот козырнул и открыл дверцу Георгова автомобиля. «Сюда, рядом со мной, — сказал Георг. — Знаешь дорогу?»

«Не отсюда. От Каннебьер».

Мы ехали сквозь холодную ветреную ночь. Я надеялся где-нибудь, когда машина замедлит ход или остановится, вывалиться наружу, но Георг запер мою дверцу. Кричать нет смысла, никто не придет на помощь человеку в немецкой машине, я и двух раз не успею крикнуть из лимузина с

закрытыми окнами, как Георг кулаком отправит меня в беспамятство. «Надеюсь, ты сказал правду, — буркнул он. — Иначе шкуру с тебя спущу да еще и перцем посыплю».

Я съежился на сиденье и упал вперед, когда машина неожиданно затормозила перед неосвещенной тачкой. «Не изображай обморок, трус!» — рявкнул Георг.

«Мне плохо», — сказал я и медленно выпрямился.

«Слабак!»

Я разорвал нитку на обшлаге брюк. При втором торможении сумел достать бритву, при третьем, когда ударился головой о ветровое стекло, в потемках обхватил ее ладонью.

Шварц поднял взгляд. Мелкий пот выступил у него на лбу.

— Он никогда бы меня не отпустил, — сказал он. — Вы тоже так думаете?

— Конечно, не отпустил бы.

— На повороте я как можно громче крикнул: «Осторожно! Слева!»

Неожиданный крик сделал свое дело, Георг и подумать ничего не успел. Голова его автоматически повернулась налево, он затормозил и крепче обхватил руль. Я бросился на него. Лезвие,

вставленное в пробку, было невелико, но я сбоку попал ему в шею, а потом резанул по горлу. Он выпустил руль, схватился за горло. Потом рухнул влево, на дверцу, и плечом нажал на ручку, повернув ее. Машина пошла юзом и врезалась в кусты. Дверца распахнулась, Георг выпал наружу. Он заливался кровью и хрипел.

Я выбрался за ним следом, прислушался. Меня окружала звенящая тишина, в которой оглушительно ревел мотор. Я вырубил его, и теперь тишина обернулась шелестящим ветром. Это шумела кровь в моих ушах. Я взглянул на Георга, поискал лезвие. Оно поблескивало на подножке автомобиля. Я поднял его, подождал. Как знать, вдруг Георг вскочит; потом я увидел, что он несколько раз шевельнул ногами и затих. Я отбросил лезвие, потом опять поднял и воткнул в землю. Выключил фары, прислушался. Тишина. Что делать дальше, я не придумал, но теперь надо было действовать, и быстро. Чем позже меня обнаружат, тем лучше, каждый час на счету.

Я раздел Георга, собрал его одежду в узел. Потом оттащил тело в кусты. Потребуется время, чтобы найти его, плюс еще некоторое время, чтобы выяснить, кто он. Может, мне повезет и его запишут просто как убитого неизвестного.

На пробу я включил мотор. Машина оказалась исправна. Я вывел ее на дорогу. Меня вырвало. В машине я нашел карманный фонарь. Сиденье и дверца были в крови. Но то и другое кожаные, легко отмыть. Вместо тряпки я использовал Георгову рубашку, намочив ее в канаве. Вымыл и подножку. Снова и снова освещал машину и тер, пока не отчистил. Потом умылся и сел за руль. Так противно было сидеть на месте Георга, меня не оставляло ощущение, что он вот-вот прыгнет из темноты мне на спину. Я тронулся с места.

Машину я оставил поодаль от дома, в боковом переулке. Шел дождь. Я шагал по улице и глубоко дышал. Мало-помалу я почувствовал, что все тело болит. Задержался у рыбного магазина, где сбоку в витрине было зеркало. В темном серебре неосвещенного стекла мало что разглядишь, но, насколько я мог увидеть, лицо у меня было в крови и распухло. Я глубоко вдохнул влажный воздух. Уму непостижимо, что еще после обеда я находился здесь, так долго тянулось с тех пор время.

Я умудрился незамеченным прошмыгнуть мимо консьержки. Она уже спала, только что-то пробормотала. Мое позднее появление не представляло для нее ничего особенного. Я быстро

поднялся по лестнице.

Хелен в комнате не было. Я смотрел на кровать и на шкаф. Канарейка, разбуженная светом, запела. У окна возникла кошка, сверкающими глазами уставилась внутрь, словно неприкаянная душа. Некоторое время я ждал. Потом прокрался к двери Лахмана, тихонько постучал.

Он сразу же проснулся. Сон у беженцев воробьиный. «Вы…» — начал он и, взглянув на меня, осекся.

«Вы что-нибудь говорили моей жене?» — спросил я.

Он покачал головой: «Ее не было дома. И час назад все еще не было».

«Слава богу».

Он посмотрел на меня как на сумасшедшего.

«Слава богу, — повторил я. — Тогда ее, вероятно, не арестовали. Она просто куда-то ушла».

«Просто ушла, — повторил Лахман. Потом спросил: — Что с вами случилось?»

«Меня допрашивали. Я сбежал»

«Полиция?»

«Гестапо. Но все позади. Спите дальше».

«Гестапо знает, где вы?»

«Я бы тогда не пришел. Утром, затемно, я уйду».

«Секунду! — Лахман достал несколько образков и четок. — Вот возьмите. Иногда они творят чудеса. Хирша с ними переправили через границу. В Пиренеях народ очень набожный. Эти вещицы благословил сам папа».

«Правда?»

Он улыбнулся чудесной улыбкой. «Если они нас спасают, стало быть, их сам Господь благословляет. До свидания, Шварц».

Я вернулся в комнату, стал собирать наши вещи. Чувствовал я себя совершенно опустошенным, но натянутым, как барабан, в котором ничего нет. В ящике Хелен я нашел пачечку писем. Их прислали в Марсель до востребования. Не задумываясь, я сунул их в ее чемодан. Нашел и вечернее парижское платье, положил туда же. Потом присел возле умывальника, опустил руку в воду. Обожженные ногти болели. Мне и дышать было больно. Я смотрел на мокрые крыши и не думал ни о чем.

Наконец послышались шаги Хелен. Она возникла на пороге как обреченный, прекрасный дух. «Что ты здесь делаешь?» Она ни о чем не знала. «Что с тобой?»

«Нам надо уехать, Хелен. Немедля».

«Георг?»

Я кивнул. Решил сказать ей как можно меньше.

«Что с тобой случилось?» — испуганно спросила она, подойдя ближе.

«Меня арестовали. Я сбежал. Меня будут искать».

«Нам надо уехать?»

«Немедля».

«Куда?»

«В Испанию».

«Как?»

«На автомобиле, как можно дальше. Соберешься?»

«Да».

Она пошатнулась.

«Болит?»

Она кивнула. Что это там на пороге, думал я. Что? Она была совсем чужая.

«У тебя еще остались ампулы?» — спросил я.

«Немного».

«Мы достанем еще».

«Выйди на минутку», — сказала она.

Я стоял в коридоре. Двери по соседству приоткрылись. Возникли лица с глазами лемуров. Лица карликовых полифемов с одним глазом и кривым ртом. Лахман в длинных серых подштанниках,

точно кузнечик, метнулся вверх по лестнице и сунул мне в руку полбутылки коньяка. «Он вам пригодится, — прошептал он. — V.S.O.P.![28]

Я тотчас отхлебнул большой глоток.

«У меня есть деньги, — сказал я. — Вот! Дайте мне еще бутылку, полную».

Я забрал у Георга бумажник и нашел там уйму денег. Лишь на секунду у меня мелькнула мысль выбросить их. Нашел я при нем и его паспорт, а также мой и Хелен. Все три лежали у него в кармане.

Одежду Георга я собрал в узел и, запихнув туда камень, бросил в гавань. Паспорт хорошенько рассмотрел при свете карманного фонаря, потом поехал к Грегориусу и разбудил его. Попросил заменить фото Георга моим. Сперва он в ужасе отказался. Он занимался подделкой эмигрантских паспортов и полагал себя при этом справедливее Господа, в котором усматривал виновника всех бед, но паспорт высокого гестаповского чина видел впервые. Я объяснил ему, что его подпись тут не требуется, это же не картина художника. За все отвечаю я один, и про него никто не узнает.

«А если вас будут пытать?»

---

[28] Примечания: 28

Very Superior Old Pale — очень выдержанный (*англ.*), о коньяке с выдержкой 18–25 лет.

Я показал ему свою руку и лицо. «Через час я уезжаю, — сказал я. — Как эмигрант я с таким лицом и на десять километров не отъеду. А мне надо через границу. Это мой единственный шанс. Вот мой паспорт. Сфотографируйте паспортное фото и замените копией снимок в гестаповском паспорте. Сколько возьмете? Деньги у меня есть». Грегориус согласился.

Лахман принес вторую бутылку коньяка. Я расплатился и вернулся в комнату. Хелен стояла у ночного столика. Ящик, в котором лежали письма, был открыт. Она задвинула его, шагнула ко мне. «Это Георг?» — спросила она.

«Не он один», — ответил я.

«Будь он проклят! — Она отошла к окну, кошка скакнула прочь. Хелен открыла ставни. — Будь он проклят! — повторила она с такой страстью и с такой твердостью, будто совершала мистический ритуал. — Будь он проклят до конца своих дней, вовеки…»

Я взял ее за руки, сжатые в кулаки, оттащил от окна. «Пора уходить».

Мы спустились вниз. Из всех дверей нас провожали взгляды. Серая рука помахала вслед. «Шварц! Не берите рюкзак. Жандармы относятся к рюкзакам с подозрением. У меня есть дешевый

чемоданчик из кожзама, выглядит шикарно…»

«Спасибо, — сказал я. — Мне теперь не нужен чемодан. Мне нужна удача».

«Мы желаем вам удачи».

Хелен ушла вперед. Я слышал, как промокшая шлюха у подъезда посоветовала ей остаться дома, в дождь, мол, клиентов не сыщешь. Вот и хорошо, подумал я, чем пустыннее улицы, тем для меня лучше. Хелен изумилась, увидев машину. «Угнал, — сказал я. — Надо уехать на ней как можно дальше. Садись».

Еще не рассвело. Дождь потоками струился по ветровому стеклу. Если на подножке оставалась кровь, теперь ее наверняка смыло. Я остановился поодаль от дома, где жил Грегориус. «Постой здесь», — сказал я Хелен, кивнув на стеклянный навес магазина рыболовных принадлежностей.

«А в машине нельзя остаться?»

«Нет. Если кто придет, сделай вид, будто ждешь клиентов. Я скоро вернусь».

Грегориус успел все сделать. Страх сменился гордостью артиста. «Самое трудное — мундир, — сказал он. — У вас-то штатский костюм. Я просто отрезал ему голову».

Он отклеил Георгово фото, вырезал голову и шею, приложил мундир к моему снимку и сфо-

тографировал монтаж. «Обер-штурмбаннфюрер Шварц, — гордо произнес он. Высушенное фото он уже вклеил на место. — Штамп более-менее удался. Если станут присматриваться, вам так и так конец… даже при подлинном штампе. Вот ваш старый паспорт в целости и сохранности».

Он отдал мне оба паспорта и остатки Георговой фотографии. Я порвал ее, пока спускался по лестнице, а на улице бросил в воду, которая ручьем стекала в водосток.

Хелен ждала. Сперва я проверил машину: бак полон. Если все пойдет хорошо, бензина хватит, чтобы перебраться через границу. Удача меня не оставила — в бардачке обнаружился пропуск на пересечение границы, уже дважды использованный. Я решил пересечь ее не там, где машину уже видели. Нашлись и карточка автозаправки «Мишлен», пара перчаток и атлас автомобильных дорог Европы.

Машина катила сквозь дождь. До рассвета оставалось еще несколько часов, мы направлялись в сторону Перпиньяна. Пока не развиднелось, я решил остаться на магистральном шоссе. «Может, я поведу? — немного погодя предложила Хелен. — Твои руки!»

«А сможешь? Ты не спала».

«Ты тоже».

Я взглянул на нее. Вид свежий и спокойный. Поразительно. «Хочешь глоток коньяка?»

«Нет. Буду ехать, пока не удастся где-нибудь выпить кофе».

«Лахман дал мне еще одну бутылку коньяка». Я достал ее из кармана пальто. Хелен покачала головой. Она сделала себе укол.

«Попозже, — очень мягко сказала она. — Попробуй вздремнуть. Будем вести машину по очереди».

Хелен водила лучше меня. Немного погодя она запела, однообразные, короткие песенки. До сих пор я был страшно напряжен, теперь урчание автомобиля и негромкое пение начали меня убаюкивать. Я знал, что должен поспать, но снова и снова просыпался. Мимо проносился серый пейзаж, и мы включили фары, не заботясь о предписаниях насчет затемнения.

«Ты убил его?» — вдруг спросила Хелен.

«Да».

«Был вынужден?»

«Да».

Мы ехали дальше и дальше. Я смотрел на дорогу и думал о многом, а потом провалился в каменный сон. Когда я проснулся, дождь уже перестал.

Наступило утро, урчал мотор, Хелен сидела за рулем, и мне почудилось, будто все было сном. «Я сказал неправду», — сказал я.

«Знаю», — ответила она.

«Это был другой», — сказал я.

«Знаю».

Она не смотрела на меня.

18

— В последнем довольно большом городе перед границей я хотел получить испанскую визу для Хелен. Толпа перед консульством удручала. Придется рискнуть, ведь автомобиль, вероятно, уже ищут, но другого выхода нет. В паспорте Георга виза уже стояла.

Я медленно подъехал ближе. Толпа встрепенулась, только когда разглядела немецкие номера. Расступилась перед нами. Несколько эмигрантов побежали прочь. Сквозь строй ненависти автомобиль протиснулся к входу. Жандарм козырнул. Давненько со мной такого не случалось. Я небрежно поздоровался и прошел в консульство. Жандарм посторонился. Надо быть убийцей, с горечью подумал я, чтобы тебе оказывали уважение.

Визу я получил незамедлительно, как только предъявил паспорт. Вице-консул видел мое лицо. Но не руки. Я надел перчатки из бардачка. «Следы войны и ближнего боя», — сказал я. Он понимающе кивнул. «Мы тоже пережили годы боев. Хайль Гитлер! Великий человек, как и наш каудильо».

Я вышел на улицу. Вокруг автомобиля образовалась пустота. На заднем сиденье сидел перепуганный мальчик лет двенадцати. Забился в угол, одни только глаза да прижатые ко рту руки. «Мы должны взять его с собой», — сказала Хелен.

«Почему?»

«Его документ действует еще только два дня. Если его схватят, то отправят в Германию».

Я почувствовал, как по спине под рубашкой течет пот. Хелен посмотрела на меня. Она была очень спокойна. «Мы отняли одну жизнь, — сказала она по-английски. — И должны спасти другую».

«У тебя есть документы?» — спросил я у мальчика.

Он молча протянул мне разрешение на жительство. Я взял его, опять пошел в консульство. Это стоило мне огромного труда — казалось, автомобиль на улице сотней громкоговорителей выкрикивает свою тайну. Я небрежно сказал секретарю, что напрочь запамятовал, что мне нужна еще одна виза — по службе, для подтверждения личности за рубежом. Заглянув в документ, он удивился, потом с улыбкой подмигнул и выдал визу.

Я сел в машину. Настрой в толпе стал еще враждебнее. Вероятно, они думали, что я намерен засадить мальчика в лагерь.

Из города я выехал с надеждой, что удача не покинет меня. Руль с каждым часом становился все горячее. Я опасался, что вскоре машину придется бросить, но совершенно не представлял себе, что будет дальше. В такую погоду Хелен не сможет идти через горы окольными тропами, она слишком слаба, а потеря автомобиля лишит нас и призрачной вражеской защиты. Никто из нас не имел французского разрешения на выезд. Пешком все было совершенно иначе, нежели в дорогом автомобиле.

Мы продолжали путь. Странный был день. Посюсторонность и потусторонность, казалось, рухнули в две пропасти, и ехали мы по узенькому гребню в окутанном облаками высокогорье, точно в вагончике канатной дороги. Я мог бы сравнить это разве что со старинным китайским рисунком тушью, где странники упрямо бредут среди вершин, облаков и водопадов. Мальчик съежился на заднем сиденье и почти не двигался. В своей жизни он только и научился не доверять всему. Ничего другого не помнил. Когда культуртрегеры Третьего рейха пробили череп

его деду, ему было три года… когда повесили его отца — семь и девять, когда его мать отравили газом… поистине, дитя двадцатого века. Каким-то образом он сбежал из концлагеря и в одиночку прошел через границы. Если б его схватили, то как дезертира вернули бы в концлагерь и повесили. Теперь он стремился в Лиссабон, какой-то дядюшка якобы работал там часовщиком, так ему сказала мать вечером накануне своей смерти, когда благословила его и дала последнее напутствие.

Все прошло благополучно. На французской границе никто о разрешении на выезд не спросил. Я только бегло показал паспорт и сделал записи насчет машины. Жандармы козырнули, шлагбаум поднялся, и мы покинули Францию. Через несколько минут испанские таможенники восхищались автомобилем, интересовались, сколько километров в час он делает. Я что-то ответил, и они принялись мечтательно вспоминать последний великий собственный автомобиль — «испано-суизу». Я сказал, что у меня был такой, и описал летящего журавля на радиаторе. Они пришли в восторг. Я спросил, где можно заправиться. Они сказали, что для друзей Испании существует спецфонд на бензин. Песет у меня не

было. Они обменяли мои франки. С сердечной официальностью мы распрощались.

Я откинулся на спинку сиденья. Гребень и облака исчезли. Перед нами лежала чужая страна, страна, уже не похожая на Европу. Мы пока не избавились от опасности, но между Францией и этой страной зияла пропасть. Я видел дороги, осликов, людей, национальные костюмы, скудный каменистый пейзаж — мы очутились в Африке. Здесь и был подлинный Запад, по ту сторону Пиренеев, я чувствовал. Потом заметил, что Хелен плачет.

«Ну вот, ты там, куда стремился», — прошептала она.

Я не понял, о чем она. Еще не верил, что все прошло так легко. Думал о вежливости, приветствиях, улыбке — впервые за много лет я вновь столкнулся со всем этим и был вынужден убить, чтобы со мной обращались как с человеком. «Почему ты плачешь? — спросил я. — До спасения пока далеко. Испания кишит гестаповцами. Нам нужно проехать ее как можно скорее».

Переночевали мы в маленьком городке. Вообще-то я хотел бросить машину и дальше ехать поездом. Но не сделал этого. В Испании было небезопасно, я хотел как можно скорее выбраться

за ее пределы. Необъяснимым образом машина стала этаким мрачным талисманом, вдобавок ее техническое совершенство вытесняло ужас, который я перед ней испытывал. Я слишком в ней нуждался и о Георге больше не думал. Непомерно долго он угрозой нависал над моей жизнью; теперь его не стало, и только это я ощущал. Думал о смехаче, ведь он был жив и мог по телефону потребовать нашего ареста. Убийцу выдаст любая страна. Что действовал я в силу необходимой самообороны, придется доказывать, причем там, где это случилось.

К португальской границе я подъехал следующей ночью, в поздний час. Визы выправил по дороге, без затруднений. Оставил Хелен у границы в машине с незаглушенным мотором. Если случится что-нибудь подозрительное, она рванет с места ко мне, я запрыгну в машину, и мы прорвемся к португальской таможне. Случиться могло мало что, погранпункт был маленький, и прежде чем сотрудники в потемках сумеют выстрелить и попасть, мы окажемся вне достижимости. Что будет дальше, в Португалии, дело другое.

Ничего не случилось. Сотрудники в форме стояли на ветру в темноте как фигуры на кар-

тине Гойи. Они козырнули, и мы направились к португальской таможне, где повторилось то же самое. Однако, едва машина тронулась, один из сотрудников бросился за нами вдогонку, закричал, чтобы мы остановились. Я быстро оценил ситуацию и затормозил; если б я поехал дальше, машину могли бы задержать в ближайшем поселке. Потому и затормозил. Мы затаили дыхание.

Сотрудник подбежал. «Пропуск на машину, — сказал он. — Вы забыли пропуск на машину. Как вы без него вернетесь через границу?»

«Большое спасибо!»

У меня за спиной мальчик шумно перевел дух. Мне самому на миг показалось, что я совершенно невесом, такое облегчение я ощутил.

«Ну вот, ты в Португалии», — сказал я мальчику. Он медленно отнял руки от рта и впервые откинулся на спинку сиденья. Всю дорогу просидел наклонясь вперед.

Мимо пролетали деревни. Лаяли собаки. В утренних сумерках пылал кузнечный горн, кузнец ковал белого коня. Дождь прекратился. Я ждал чувства освобождения, которого дожидался так долго, но оно не приходило. Хелен тихо сидела рядом. Я хотел радоваться, а чувствовал пустоту.

Из Лиссабона я созвонился с американским

консульством в Марселе. Рассказал, что произошло, до той минуты, когда появился Георг. Человек, с которым я говорил по телефону, считал, что теперь я в безопасности. Единственное, чего я смог от него добиться, было обещание, что, если визу одобрят, он перешлет ее в лиссабонское консульство.

Настало время избавиться от автомобиля, который так долго нас защищал. «Продай его», — сказала Хелен.

«Может, все-таки лучше утопить его в море?»

«От этого ничего не изменится, — сказала она. — Тебе нужны деньги. Продай его».

Она была права. Продать оказалось проще простого. Покупатель, точнее перекупщик, сказал мне, что заплатит пошлину и перекрасит машину в черный цвет. Я продал ее от имени Георга. А неделю спустя увидел уже с португальскими номерами. В Лиссабоне было несколько таких «мерседесов», я узнал этот по небольшой вмятине у левой подножки. Паспорт Георга я сжег.

Шварц взглянул на свои часы.

— Рассказать осталось совсем немного. Раз в неделю я заходил в консульство. Некоторое время мы прожили в гостинице. Сняли номер на деньги от продажи машины. Мне хотелось по возмож-

ности обеспечить Хелен наилучшие условия. Мы нашли врача, который помогал ей доставать обезболивающее. Я даже ходил с ней в казино. Ради такого случая взял напрокат смокинг. А у Хелен сохранилось вечернее парижское платье. К нему я купил ей золотые туфельки. Прежние я забыл в Марселе. Вы бывали в этом казино?

— К сожалению, — сказал я. — Вчера вечером ходил туда. И зря.

— Я хотел, чтобы она играла, — сказал Шварц. — Она выиграла. Непостижимая полоса продолжалась. Она не глядя поставила фишки, и эти номера выиграли.

Последнее время имело мало общего с реальностью. Казалось, вновь начались те дни во дворце. Мы что-то разыгрывали друг перед другом, но впервые у меня было ощущение, что теперь она целиком принадлежит мне, хотя день ото дня она все больше уходила к самому неумолимому из всех любовников. Она еще не сдалась, но бороться перестала. Случались мучительные ночи и ночи, когда она плакала, а потом опять наступали почти неземные мгновения, когда сладость, безнадежность, мудрость и любовь без телесных границ вдруг набирали такую силу, что я почти не смел шевельнуться, настолько могучей она

мне казалась. «Любимый мой, — однажды ночью сказала мне Хелен, и это был единственный раз, когда она говорила об этом, — вместе мы не увидим обетованную землю, которую ты ждешь».

После обеда я возил ее к врачу. И теперь вдруг словно удар молнии ощутил бессильный бунт, который овладевает человеком, признающим, что ему не удержать то, что он любит.

«Хелен, — сказал я сдавленным голосом, — чем мы стали?»

Она молчала. Потом тряхнула головой и улыбнулась. «Всем, чем могли. И этого достаточно».

Потом настал день, когда в консульстве мне сообщили, что свершилось невозможное: наши визы одобрены. Хмельной каприз случайного знакомства сделал то, чего не могли достигнуть ни мольбы, ни беды! Я рассмеялся. Это была истерика. Если можешь смеяться, то в нынешнем мире найдется много поводов для смеха, верно?

— В конце концов смех прекращается, — сказал я.

— Странно, в последние дни мы часто смеялись, — сказал Шварц. — Словно очутились в гавани, куда не задувают ветра. Горечь иссякла, слезы тоже, а печаль стала такой прозрачной, что сплошь и рядом не отличалась от ирониче-

ски меланхоличной веселости. Мы переехали в маленькую квартирку. В непостижимой слепоте я продолжал осуществлять свой план отъезда в Америку. Долго не было никаких кораблей, но в конце концов один пришел. Я продал последний рисунок Дега и купил билеты. Я был счастлив. Думал, что мы спасены. Наперекор всему! Наперекор врачам. Думал, что еще и это чудо непременно должно случиться!

Отплытие отложили на несколько дней. А позавчера я еще раз наведался в судовую контору. Отплытие назначили на сегодня. Я сообщил об этом Хелен и пошел кое-что купить. Когда я вернулся, она была мертва. Все зеркала в комнате вдребезги разбиты. Вечернее платье разорванное валялось на полу. Она лежала рядом, не на кровати.

Сперва я подумал, ее убили грабители. Потом, что это дело рук гестапо, но ведь гестапо искало меня, а не ее. Только разглядев, что, кроме зеркал и платья, все цело и невредимо, я понял. Вспомнил про яд, которым с ней поделился и о котором она сказала, что потеряла его. Долго стоял, смотрел, потом стал искать письмо. Его не было. Ничего не было. Она ушла без единого слова. Понимаете?

— Да, — ответил я.

— Понимаете?

— Да, — повторил я. — Что еще она могла вам написать?

— Что-нибудь. Почему. Или…

Он умолк. Вероятно, думал о последних словах, о последнем заверении в любви, о чем-то, что мог бы унести в свое одиночество. Он научился отбрасывать многие шаблонные представления, но, судя по всему, не это.

— Если бы начала писать, она бы никогда не смогла закончить, — сказал я. — Тем, что ничего вам не написала, она сказала больше, чем вообще могла бы выразить словами.

Он задумался. Потом прошептал:

— Вы видели объявление в бюро путешествий? «Откладывается на день». Она прожила бы еще один день, если бы знала об этом!

— Нет.

— Она не хотела ехать. Потому так и поступила!

Я покачал головой.

— Она больше не могла терпеть боль, господин Шварц, — осторожно проговорил я.

— Не верю, — ответил он. — Почему же она поступила так именно накануне отъезда? Думала,

что ее, больную, в Америку не пустят?

— Почему вы не хотите предоставить умирающему человеку самому решить, когда он более не в силах терпеть? Это ведь самое малое, что мы можем сделать!

Он посмотрел на меня.

— Она держалась до последнего, — сказал я. — Ради вас, неужели вы не понимаете? Только ради вас. И зная, что вы спасены, ушла.

— А если б я не был так слеп? Если б не стремился в Америку?

— Господин Шварц. Болезнь это не остановило бы.

Шварц как-то странно мотнул головой.

— Она ушла, и вдруг кажется, будто ее никогда не было, — прошептал он. — Я смотрел на нее, а она не отвечала. Что я сделал? Убил ее или сделал счастливой? Она любила меня или я был всего лишь тростью, на которую она при необходимости опиралась? Ответа я не нахожу.

— А он вам нужен?

— Нет, — сказал он, вдруг совершенно спокойно. — Простите меня. Вероятно, нет.

— Его не существует. Всегда существует лишь один: тот, какой вы даете себе сами.

— Я рассказал вам все, потому что должен

знать, — прошептал он. — Что это было? Пустая, бессмысленная жизнь, жизнь никчемного человека, рогоносца, убийцы?..

— Не знаю, — сказал я. — А если хотите, еще и жизнь любящего и, коль скоро для вас это важно, в некотором роде святого. Но что значат названия? Она была. Разве этого мало?

— Была. Но есть ли сейчас?

— Есть, пока вы живы.

— Только мы еще удерживаем эту жизнь, — прошептал Шварц. — Вы и я. Больше никто. — Он пристально посмотрел на меня. — Не забудьте о ней! Кто-то должен ее хранить! Она не должна исчезнуть! Нас всего двое. У меня она не в безопасности. А ей нельзя умирать. Она должна продолжаться. У вас она в безопасности.

При всем скептицизме меня охватило странное ощущение. Чего хотел этот человек? Вместе с паспортом отдать мне и свое прошлое? Он что же, собирается покончить с собой?

— Почему в вас эта жизнь умрет? — спросил я. — Вы же будете жить дальше, господин Шварц.

— Я не стану кончать самоубийством, — спокойно отозвался Шварц. — Не стану, потому что видел смехача и знаю, что он до сих пор жив.

Но моя память попытается разрушить воспоминания. Будет пережевывать их, измельчать, подделывать, пока они не станут пригодны к выживанию, уже не опасны. Уже через несколько недель я бы не смог рассказать вам то, что рассказал сегодня. Потому и хотел, чтобы вы меня выслушали! У вас все останется неподдельным, поскольку для вас опасности не представляет. И должно же это где-то сохраниться, — вдруг безнадежно сказал он. — В ком-то, таким, как было, пусть даже ненадолго.

Он достал из кармана два паспорта, положил передо мной.

— Здесь и паспорт Хелен. Билеты уже у вас. А теперь и американские визы. На двоих. — Он смутно улыбнулся и умолк.

Я смотрел на паспорта. Потом через силу спросил:

— Вам правда больше не нужен ваш паспорт?

— Можете отдать мне свой, — сказал он. — Он понадобится мне на один-два дня. Чтобы перейти границу.

Я взглянул на него.

— В иностранном легионе паспорт не спрашивают. Вы же знаете, они берут на службу эмигрантов. И пока на свете есть такие, как

смехач, преступно — тратить на самоубийство жизнь, которую можно использовать на борьбу против подобных варваров.

Я достал из кармана свой паспорт, протянул ему:

— Спасибо. Спасибо от всего сердца, господин Шварц.

— Вот, еще немного денег. Мне столько не нужно. — Шварц посмотрел на часы. — Сделайте для меня еще кое-что! Через полчаса ее заберут. Пойдемте со мной!

— Хорошо.

Шварц расплатился по счету. Мы вышли в галдящее утро.

На Тежу белый и тревожный стоял корабль.

Я стоял в комнате, рядом со Шварцем. Разбитые зеркала так и висели на стенах. Пустые рамы. Осколки убрали.

— Наверно, мне следовало остаться с ней в последнюю ночь, да? — спросил Шварц.

— Вы были с ней.

Женщина лежала в гробу как все усопшие — с бесконечно отрешенным лицом. Ничто более не трогало ее — ни Шварц, ни я, ни она сама. И уже невозможно представить себе, как она выглядела. Здесь лежала статуя, и лишь один человек

знал, какой она была, когда дышала, — Шварц. Но Шварц верил, что теперь и я тоже знаю.

— Она еще… — сказал он, — здесь еще были… — Он достал из ящика несколько писем. — Я их не читал. Возьмите.

Я взял письма, хотел положить их в гроб. Но тотчас отказался от этой мысли — умершая теперь наконец-то принадлежала одному только Шварцу, так он думал. Письма от других более не имели к ней касательства… он не хотел отдать их ей и уничтожать не хотел, потому что они все-таки связаны с нею.

— Я возьму их, — сказал я, пряча письма в карман. — Они не имеют ни малейшего значения. Значат меньше, чем мелкая купюра, которой оплачиваешь тарелку супа.

— Костыли, — ответил он. — Я знаю. Она как-то раз назвала их костылями, которыми пользовалась, чтобы хранить мне верность. Понимаете? Это абсурдно…

— Нет, — сказал я и очень осторожно, со всем на свете сочувствием добавил: — Почему вы не оставите ее наконец в покое? Она любила вас и оставалась с вами, сколько могла.

Шварц кивнул. Внезапно он показался мне очень хрупким.

— Вот это я и хотел знать, — пробормотал он.

В комнате с ее тяжелым запахом, мухами, погасшими свечами, с солнцем на улице и с умершей становилось жарко. Шварц заметил мой взгляд.

— Одна женщина мне помогла, — сказал он. — В чужой стране так сложно. Врач. Полиция. Ее увезли. А вчера вечером привезли обратно. Обследовали. Насчет причины смерти. — Он беспомощно посмотрел на меня. — Ее… она уже не целая… мне сказали, чтобы я не снимал покрывало…

Пришли носильщики. Гроб закрыли. Шварц пошатнулся.

— Я поеду с вами, — сказал я.

Ехать оказалось недалеко. Лучезарное утро, ветер, точно пастушья собака, гнал стадо облачных барашков. На кладбище Шварц маленький и потерянный стоял под огромным небом.

— Вы вернетесь в квартиру? — спросил я.

— Нет.

Он захватил с собой чемодан.

— Вы знаете кого-нибудь, кто может подправить паспорта? — спросил я.

— Грегориуса. Он уже неделю здесь.

Мы пошли к Грегориусу. Он быстро подправил паспорт для Шварца; тщательности тут не тре-

бовалось. Для иностранного легиона Шварц взял с собой удостоверение бюро регистрации; ему оставалось только пересечь границу и в казарме выбросить мой паспорт. Легион не интересовался прошлым.

— Что случилось с мальчиком, которого вы привезли с собой? — спросил я.

— Дядюшка терпеть его не может, но мальчик рад, что у него есть хотя бы родственник, который его ненавидит… а не только посторонние.

Я смотрел на мужчину, который носил теперь мое имя.

— Желаю вам всего доброго, — сказал я, уже не называя его Шварцем. Ничего, кроме этой тривиальной фразы, мне в голову не пришло.

— Мы с вами больше не увидимся, — ответил он. — И хорошо. Я слишком много рассказал вам, чтобы желать новой встречи.

Я не был так уж в этом уверен. Может статься, именно поэтому он позднее захочет повидать меня снова. В его представлении я был единственным, кто хранит неподдельный образ его судьбы. Но, возможно, именно поэтому он возненавидит меня, ведь я как бы отнял у него жену, на сей раз безвозвратно и навеки… поскольку он думал, что собственные воспоминания обманывают его и

только мои останутся незамутненными.

Я смотрел, как он уходит по улице, с чемоданом в руке, жалкая фигурка, образ вечного рогоносца и вечного великого любящего. Но разве он не владел любимым человеком глубже, чем шайка тупых победителей? И чем мы владеем на самом деле? К чему столько шума из-за того, что в лучшем случае лишь взято на некоторое время в долг, и к чему столько разговоров о том, владеешь ли этим больше или меньше, коль скоро обманчивое слово «владеть» означает всего-навсего — обнимать воздух?

Паспортная фотокарточка жены была у меня с собой, ведь в ту пору постоянно требовались фотографии для документов. Грегориус немедля взялся за работу. Я не отходил от него. Боялся выпускать паспорта из виду.

К полудню они были готовы. Я поспешил в лачугу, где мы ютились. Рут сидела у окна, глядя на рыбацких ребятишек во дворе.

— Проиграл? — спросила она, когда я появился на пороге.

Я поднял вверх паспорта.

— Завтра мы уезжаем! У нас будут другие имена, разные, и в Америке нам придется пожениться еще раз.

Я почти не думал о том, что теперь у меня паспорт человека, которого, возможно, разыскивают за убийство. Следующим вечером мы отплыли и без приключений добрались до Америки. Но паспорта влюбленных не принесли нам счастья: через полгода Рут со мной развелась. Чтобы легализовать развод, нам сперва пришлось еще раз пожениться. Впоследствии Рут вышла за богатого молодого американца, который поручился за Шварца. Он нашел все это весьма забавным и был свидетелем на нашей второй свадьбе. А неделей позже мы развелись в Мексике.

Годы войны я провел в Америке. И странным образом начал интересоваться живописью, на которую раньше едва обращал внимание, — словно то было наследие далекого, покойного пра-Шварца. Часто я думал и о другом Шварце, который, возможно, был еще жив, и оба они смешались в какой-то призрачный дым, который порой словно бы клубился вокруг и действовал на меня, хоть я и понимал, что это вздор. В конце концов я нашел работу в художественном магазине, а в комнате у меня висели репродукции рисунков Дега, которые я особенно полюбил.

Я часто думал о Хелен, которую видел лишь мертвой, какое-то время она даже снилась мне,

когда я жил один. Письма, полученные от Шварца, я в первую же ночь, когда корабль шел через океан, бросил в волны, не читая. При этом в одном конверте я ощутил легкое сопротивление, будто от камешка. В темноте я вытащил его из конверта; это оказался плоский кусочек янтаря, где тысячи лет назад увязла и окаменела крошечная мушка. Я не выбросил камешек, взял его с собой — крошечную мушку в смертельной борьбе, в клетке из золотых слез, где она сохранилась, тогда как остальные ее сородичи были съедены, замерзли и исчезли.

После войны я вернулся в Европу. С некоторым трудом восстановил свою личность, ведь в ту же пору в Германии были сотни представителей расы господ, которые стремились потерять свою. Паспорт обоих Шварцев я подарил русскому, который бежал через границу, — начиналась новая волна эмиграции. Бог весть, где он теперь! О Шварце я больше никогда не слыхал. Однажды даже съездил в Оснабрюк и навел о нем справки, хотя забыл его подлинное имя. Но город был разорен, никто о нем ничего не знал, и никого это не интересовало. На обратном пути к вокзалу мне показалось, будто я узнал его. Я догнал этого человека, но он оказался женатым почтовым де-

лопроизводителем, который сообщил, что зовут его Янсен и у него трое детей.